

Александр ПОТЁМКИН



Я

Александр Потемкин Я

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=171223
Я: ИД «ПоРог»; Москва; 2004
ISBN 5-902377-10-2

Аннотация

С детства сирота Василий Караманов столкнулся с жестокостью и низостью людей. Озлобившись, не желая считать себя одним из них, он начинает искать доказательства ущербности человеческого рода. Как исправить положение, ускорить эволюцию, способствовать появлению нового, высшего вида разумных существ?..

Философско-психологическая повесть Александра Потемкина разворачивается как захватывающий поток сознания героя, увлекает читателя в смелый интеллектуальный и нравственный поиск, касающийся новых эволюционных путей развития человечества.

Александр Потемкин Я

*Бог стал человеком,
чтобы человек стал Богом!*
Василий Великий, IV век

«Надо было спешить. Все стало наконец понятно, все выстроилось в логическую линию, и сознание успокоилось. Прежние поиски собственного Я обрели, казалось, покой, в котором я так нуждался с самого детства. Никогда не думал, что истина так неожиданно ворвется в мое сознание! А все произошло просто и быстро, как это обычно случается: как-то утром я проснулся на своем тюфяке – и на меня буквально обрушилось оригинальное решение будущего бытия. Как будто чей-то мудрый голос с каким-то неведомым умыслом подсказал, что я, Василий Караманов, двадцатисемилетний мужчина, согбенный под тяжестью глубоких переживаний, должен спешить реализовать себя, осуществив тем самым свое тайное предназначение. Не где-нибудь в глухой российской провинции, не в Сивой Маске, в Сургуте или в одном из поселков автомобильной якутской магистрали между Алданом и Беркакитом, а в столичной дворницкой берлоге в Староваганьковском переулке. На улице, изрядно потоптанной известными гражданами нашего Отечества; напротив окон Государственной библиотеки, того самого столичного заведения, где человек черпает совершенно другие, отличные от навеянных давеча моему воспаленному уму знания. Ох, если бы ее читатели – студенты, профессора, другие представители интеллигенции – знали, чего я вдруг так страстно пожелал! Ох, если бы они имели представление, на что я так смело решился! Что так торопливо хочу предпринять! В чем мечтаю найти умиротворение! Они подумали бы, что на меня влияют таинственные силы; стали бы публично доказывать, что без сильнейшего давления и принуждения человек никогда бы самостоятельно не решился на такой поступок; что я заколдован, спятил, совершенно лишился ума; что этот мой предстоящий ход оплачен очень высоким гонораром; что я жажду доказать себе, миру настоящего и будущего необыкновенность собственной личности, представить на суд общества силу духа и воли Василия Караманова, а не обоснованную научную истину! Но что мне до этого? Чепуха! Я обязательно совершу задуманное. В этом мире нет человека, способного остановить меня. Да, мое решение было неожиданным. Еще день, неделю назад я никак не ожидал такой развязки. Но что было прежде – день за днем и всю мою жизнь? Разве не жизнь помогала мне находить самого себя самым неожиданным образом? Не она научила меня вести поиск осуждаемого обществом? Поступать в угоду себе? Однажды, в самом раннем детстве, у ворот церкви я услышал фразу, злобно брошенную в мой адрес: «Презренный мальчишка!» После этого я стал старательно копить в памяти события, доказывающие мою презренность. Когда мне было пять лет, мой отец изнасиловал финскую туристку и нанес ее мужу тяжкие телесные повреждения. Чтобы показать своему северному соседу и гражданам собственного Отечества неотвратимость и строгость советского правосудия, коммунистическая Фемида вынесла приговор: высшая мера наказания. Его расстреляли. Тогда все в округе стали обзывать меня «отпрыском выродка». В шестилетнем возрасте я лишился матери: после такого семейного позора она быстро пристрастилась к наркотикам – молотым головкам мака, росшего у нас на каждом пяточке земли, и в двадцать восемь лет умерла от передозировки кукуара – опийного отвара. И тогда все, знакомые с этими историями – а их было большинство в городе, – стали обзывать меня «презренным мальчишкой». В семь лет по субботам, когда ортодоксальным евреям строго запрещается делать какую-либо работу, я обходил их дома в своем квартале, чтобы разжечь печь, керосинку, включить свет, наколоть дрова, приготовить чай. За это они давали мне пряники, а порой и деньги. О, это было великое испытание!

«Семья у него, конечно, преступная, но что этот недоносок делает в еврейских домах? Таких презирать надо!» – говорили вокруг. Мне уже безумно нравилось, что моим сверстникам запрещают со мной общаться. Им не позволяли со мной играть, приглашать меня в дом, делиться со мной пищей! Я уже гордился тем, что директор школы допрашивает меня, чем я занимаюсь по субботам у иудеев. В душе я посмеивался и над учителями, требовавшими от меня не ходить по домам иноверцев. Впрочем, мои столь ранние шабатные визиты вовсе не вызывали у людей любопытства или желания что-то понять, осмыслить; они рождали лишь брезгливость и презрение. Эту их неприязнь я чувствовал повсеместно. Везде и во всем. В праздничный или будний день. В едких и пренебрежительных взглядах, в проклятиях, срывающихся с языка, в многочисленных запретах: получать отличные или хорошие оценки, добавку в школьном буфете, новогодний кулек с подарками, поохотиться с рогаткой на перепелок. Не раз случалось, что когда я заходил на Пасху в церковь, меня выводили оттуда со словами: «Тебе, гаденыш, здесь нечего делать! Пошел вон из храма!» Меня ненавидели не только люди: породистые псы и уличные дворняги облаивали меня с жуткой ненавистью, их клыки почти касались моего бледного болезненного тела. Злые осы вились вокруг меня, как саранча над пшеничным полем. Скорпионы прятались в истоптанной обуви, чтобы укусить; гуси, вытянув шеи и грозно махая крыльями, больно щипали голые детские ноги; коварные вороны выдергивали мои рыжие волосы с радостным карканьем. И сейчас, когда я вспоминаю эти страницы собственной биографии, меня охватывает, как бывало в детстве, искреннее уважение к самому себе: в семь лет начать конфликтовать с миром! Как это случилось? Как такое могло произойти в сознании обычного ребенка? Правда, тогда мир для меня ограничивался пространством небольшого провинциального городка, затерянного на огромной территории коммунистической империи; но людские страсти в нем бушевали не меньше, чем в крупнейших мегаполисах планеты. Я рос, и моя дерзость росла вместе со мной. В девять лет, чтобы вызвать к себе новую волну общего презрения, к чему я уже начал сознательно, систематически стремиться, я на время летних каникул пристроился на живодерню. На этой работе обычно трудились приезжие, – они-то меня и взяли. Вначале мне не хотели доверять мелкокалиберную винтовку, но однажды, когда во время обеда санитары постукивали водочными стаканами, я сам схватил ружье и выстрелил в пса, агрессивность которого была очевидна. Собака завизжала и замертво брякнулась на мостовую. Мужики заорали: «Браво!» После этой истории я осмелел и стал увереннее вести себя на городских улицах: если правила предписывали отстреливать только бесхозных, бродячих собак, то я бил всех, но прежде всего – своих знакомых обидчиков. Кто мог защитить сироту, кроме него самого! Впрочем, я не только желал мщения; я стремился вызвать у всех в округе лютую ненависть. Тогда мне самому часто хотелось быть одинокой бродячей собакой, в которую всякий норовит бросить камень или выкрикнуть вслед злобную брань. Вот откуда все пошло! Вот где начинался мой сложный путь к решению, которое я давеча принял. С самого раннего детства меня увлекал конфликт между мной и обществом; увлечение это, как видно, осталось на всю жизнь. В десять лет я выкинул другой дерзкий фортель, после чего меня стали ненавидеть даже сверстники. Футбольный матч нашей городской команды с обояньским «Колосом» в самом начале сезона вызвал большой интерес зрителей. Трибуны были переполнены. Их на нашем стадионе было две: западная и восточная. На юге, за футбольными воротами, высилась трехметровая кирпичная стена по всей ширине футбольного поля. Северные ворота были огорожены пятиметровой высоты металлической сеткой. Я знал, что никак не смогу попасть на футбол: откуда у сироты деньги на билет! В тот день я заготовил острое шило, спрятался за прогнившей калиткой овощного погреба в восьми метрах от южной стены стадиона и стал ждать начала встречи. В самом начале сезона футболисты часто бьют мимо ворот. На это я, десятилетний Василий Караманов, как раз и рассчитывал. Уже спустя несколько минут после начала матча мяч перелетел через стенку и буквально плюхнулся мне в руки. Я тут

же нанес ему три-четыре удара шилом, бросил его на открытое место и снова спрятался за калиткой. На это у меня ушло не больше одной минуты. Еще через минуту на стене появился боковой судья. Увидев спущенный мяч, он послал за ним какого-то юного спортсмена, а сам оповестил главного судью, что мяч напоролся на острый предмет. Игра продолжилась. Через десять минут эпизод повторился. С невероятной радостью я наносил мячу новые удары шилом; потом спрятался в прежнем укрытии. Опять возник боковой судья, опять были крики, что нужен новый мяч. В первом тайме так повторилось четыре раза. Перед началом второго тайма на стенке оказался какой-то спортсмен. «Что, будет охранять мячи? – подумал я. – Надо искать новый ход!» Когда пятый мяч перелетел через стенку стадиона, «охранник», стоявший на ней, стал спускаться. Конечно, спускался он к мячу – а значит, и ко мне, – спиной. Я мигом схватил мяч, залез на высокий тополь, стоявший рядом, и укрылся в апрельской листве. После продолжительных поисков спортсмен увидел меня на дереве и спросил: «Эй, пацан, слышишь, ты не видел, куда мяч подевался?» Я спрятал мяч между упругими ветками, слез с тополя и с нарочито покорным видом развел руками: дескать, отвлекся в этот момент. Менял место на дереве. А сам подумал: «Не пускаете на стадион, ненавидите меня, страдать вынуждаете – теперь сами мучайтесь». «Слушай, – сказал спортсмен, – я на стенку поднимусь, а ты карауль здесь. Последний мяч у нас остался». – «А как же я футбол смотреть буду?» – с наивным видом спросил я. «Подзатыльников захотел получить? Стой здесь, не то уши надеру! Знаю я тебя, жидовский помощник с местной живодерни!» – приказным тоном бросил он. Я подумал: «Ах так, признал! Ну, я вам сейчас устрою! – Однако сказал другое: – Хорошо, дяденька, буду караулить мячи. Только вы меня не бейте». Впрочем, совершенно другая мысль пронеслась в голове: «Только руку подними, я тебя со стены сброшу! Нашелся тут храбрец, мальчишку бить! Во мне всего двадцать пять килограммов! Герой!» Спортсмен поднялся на стенку, закричал, что мяч не найден и что охрана усилена. Через двенадцать минут мяч опять перелетел на мою сторону. Я подбежал к нему и взял в руки.

Шила с собой не было: я оставил его на дереве. Мяч оказался каким-то потрепанным: кожа изрядно стерлась, под ладонями чувствовались небольшие бугорки. «Говорите, последний?» – спросил тогда я. «Бросай быстрее! Наша команда проигрывает. Еще двадцать минут. Быстрее!» Я взглянул на спортсмена и спросил: «Сколько вас там на стадионе?» – «Эй, пацан, бросай мяч! Три тысячи болельщиков ждут. Бросай, а то сейчас спущусь...» – «Три тысячи, говоришь?» – продолжал я. «Да, три, а может, больше. Бросай!» – «Три тысячи, а для одного Васьки Караманова места не нашлось! Не дам я вам мяч! Вот вам дуля!» – прокричал я и бросился бежать. Я тогда добился своей цели: матч был сорван. Больше недели на меня шла охота. Местный футбольный тренер по кличке Тула даже десятку пообещал тому, кто меня поколотит. Ночью я спал в городском парке в лодке на качелях, а днем прятался в орешнике на самой окраине города.

На девятый день меня выследил капитан Подобед из детской комнаты милиции. На мотоцикле он доставил меня в свой покосившийся офис и с невероятной злостью оттащил за уши. Этот ментовский прием я помню по сей день. Когда мои уши стали походить на огромные пельмени, он поменял тактику и начал требовать от меня, чтобы я уговорил свою тетку, у которой жил, написать заявление с просьбой отправить меня в детский дом из-за недостатка средств и сил для моего воспитания. «А где такой детдом?» – сквозь слезы спросил я, думая уже о другом. Мне тогда нестерпимо захотелось свести к минимуму мир своего общения. Именно в детской комнате милиции у меня впервые появилось это еще не совсем осознанное стремление к одиночеству. Ведь все вокруг было так чуждо, так глубоко враждебно! «Моя тетка такого заявления не напишет», – с искренним сожалением сказал я тогда Подобеду. «Как так? Почему?» – насторожился тучный неказистый мужичок, сопроводив свой вопрос отрывкой сала, чеснока и самогона. «Кто ей бутылки будет собирать? Кто тару сдаст, чтобы ей на “Имбирную” хватило? Ведь она без водки дня не проживет. Я до сих

пор по выходным дням ее еврейскими деньгами снабжаю. Без них она просто погибнет. А в будни по улицам пустые бутылки собираю». Почесал тогда капитан свою невыразительную голову, видимо, подумал, сделал несколько телефонных звонков и выложил мне новое предложение: «Тогда, негодяй, пиши заявление сам на имя начальника милиции, что тетка твоя, как ее... Пелагея Свияжская, в дальнейшем – П.С., свои обязанности по опекунству не выполняет. Регулярно пьет, алкоголичка, поэтому ты голый и босый, а желудок у тебя постоянно пуст. Понял? Найдем тебе приличный детдом, а ее направим в ближайший лечебно-трудовой профилакторий. Может, она завяжет с пьянством. Сколько ей лет?» – «Старушка, – сказал я, – на несколько лет старше моей умершей матери. Ей уже больше тридцати. Но я никогда не сдам ее в ЛТП. В детдом, правда, хочется. Но это вовсе не значит, что я готов заложить собственную тетку. Нет! Любой ценой никогда ничего делать нельзя. Особенно мне!» – «Почему “особенно тебе”?» – с любопытством спросил меня мелкорослый Подобед. «Я ведь сам по себе. Таким людям опасно давать волю фантазиям». Капитан милиции, видимо, ничего не понял. Он опять почесал свой облысевший затылок, сделал еще несколько телефонных звонков и заявил: «Поедешь в Недригайловскую детскую колонию. Это несколько южнее Сум. Туда, правда, направляют с тринадцати лет. А тебе еще нет одиннадцати. Не страшно, в сопроводительных документах напишем другой год рождения. И метрику новую вручим. Тетка твоя, Пелагея Свияжская, пойдет этапом прямо в Жиздринский ЛТП. А в вашу квартирку нового участкового вселим. Улучшим жизнь каждого. Как партия учит! Но главное – избавим город от мусора».

Так 14 апреля я навсегда оставил свой родной Путивль, заочно попрощавшись с тетушкой – милой, но вечно пьяненькой женщиной. Капитан Подобед даже не пустил меня домой забрать свои вещи. Правда, бог с ними, с этими тряпками, – но я навсегда лишился фотографий родителей. Я стал как бы человеком ниоткуда. Именно такого беспризорника, лишенного своих родственных корней, обретшего в тяжелой детской жизни стойкие повадки одинокого сорванца, повезли на попутных машинах в сопровождении милицейского сержанта в поселок городского типа Недригайлов, в детскую колонию. Разница между детдомом и колонией была существенная. Обитателями детдома были сугубо гражданские дети, по разным причинам лишившиеся родителей: гибель на вьетнамской и ближневосточной войне, пьянство, проституция, долгий тюремный срок, смерть. Детдомовских опекало само государство, а мы в колонии находились почти на арестантском положении. Кормили и одевали нас из бюджета органов внутренних дел, а за каждым нашим шагом с вышек наблюдали мордастые прапорщики внутренних войск – правда, безоружные. В колонии малолеток было около трехсот человек. Среди них оказался и я, Василий Караманов. Несмотря на радость, что окружающий мир для меня сузился, стал более понятным, менее истеричным и могущественным, жить все чаще становилось невмоготу. Ежедневно я сталкивался с вещами, которые никак не хотел воспринимать мой взрослеющий разум. Ну зачем, к примеру, было взрослому человеку бить мускулистой ногой такого мальчишку, как я? Или заставлять хлебать пустые, обезжиренные щи носом? Подкладывать в почерневшую от стирок без мыла постель клопов? Постоянно лишать сна криками «подъем!», вынуждать онанировать на слово «КПСС», слизывать грязь с их сапог? Неужели затем, что охранники смеялись, когда клопы наслаждались нашей кровью? Что они по-настоящему радовались, когда их ноги касались наших сухих, неокрепших ребер? Испытывали оргазм, когда наши языки касались их кирзово́й обуви? Облизывались, когда мы, голодные, втягивали своими носиками воняющий падалью суп? Как мне надо было понимать мир, в который меня так беспощадно втолкнули? Что я вообще должен был думать о людях? Кто они? Что они за чудовища? Кем я мог представить себя в будущем? Человеком или каким-то другим существом? Но каким именно? Ведь на самом деле выбора не было. Человек – или крыса, мышь, жираф, волк! «Кем же стать? – думал тогда я. – Неужели похожим на этих скотов типом? Если я начну к ним при-

слушиваться, постараюсь их понять и оправдать, значит, в моем сознании возникнет полное прощение их поступков, поведения, образа мыслей. Но прощая, я становлюсь таким же, как они. А ведь именно этого я категорически не хочу. Не желаю! Боюсь! С другой стороны, что толку возмущаться и страдать? Надо искать себя!» Вместо четвертого класса, в котором я с горем пополам учился в Путивле, в колонии я попал в пятый, самый младший. Сузившийся вокруг меня мир не обрадовал меня, не дал внутреннего успокоения. В огромном мире Путивля у меня было намного больше возможностей противостоять агрессии посторонних, направленной на мое Я. Даже жуткий коротышка Подобед в сравнении с недригайловскими воспитателями имел существенные преимущества. Он хотя бы говорил со мной – правда, презрительно и грубо; он хотя бы признавал меня как субъекта права – тут же, однако, показывая, что плюет на мой гражданский статус; он глядел на меня как на заморыша, которого можно избить, – но обязательно в самом конце побоев показывал пряник. Впрочем, окажись он здесь, в колонии, – почти наверняка примкнул бы к этой стае извращенных «воспитателей».

Местная детская колония больше походила на полигон для умерщвления человеческого духа и плоти. Можно ли было в этих условиях мечтать о чем-то человеческом? Прочесть книгу, восхититься музыкой, остановиться перед картиной знаменитого художника, увлечься творчеством, углубиться в академические знания? Влюбиться? Разве в таком затравленном существе, каким был я, могло родиться чувство любви? Нет, даже не к женщине, – хотя бы к жизни, к природе, к себе самому, наконец! Разве в такой истерзанной душе, как моя, могла родиться поэтическая строка, мелодия? Судя по моему опыту, этого нельзя было достичь никогда! За примерное поведение через полгода – год воспитанников детской колонии отправляли домой, к родителям. На что мог рассчитывать я, Василий Караманов? Дома – нет, родителей – нет, память о них горькая, опекунов – нет! Кто взял бы такого замухрышку, как я? С такой родословной? Одиннадцатилетнего колониста? Толпы иностранцев еще не колесили по стране с желанием усыновить наших мальчишек. Российское посольство в Вашингтоне еще не ввело традицию устраивать новогодние праздники для усыновленных американцами детей России. Общество еще не знало нам цену. Собственно, сколько мог стоить в нашей стране человек? Ребенок, взрослый, весь народ? Гроши, мелочь, копейки, пустячок! Да я и сам совершенно не ведал, за сколько можно продать себя, особенно за границу. Как впоследствии оказалось, деньги весьма приличные! И охотников до таких покупок стало предостаточно. Родись я не в семидесятые, а в восьмидесятые или девяностые годы – жил бы совсем иначе. И помыслы были бы другими. Не то, что сейчас! Скрывая свои чувства и стараясь держать себя в руках, я присмотрел в колонии учительницу. На вид добрую, симпатичную, улыбающуюся. Подумал, что она могла бы стать превосходной матерью. Мне, любому другому воспитаннику. Уж очень нравился мне ее взгляд... Но вдруг в один из майских вечеров подошел ко мне начальник режима майор Пантюхов. «Эй, рыжий, – бросил он сквозь зубы, – мне донесли, что ты анашу куришь. Я тебе выписал пятнадцать суток карцера. Впрочем, одиночку могу заменить на тридцать суток полевых работ. Если недобросовестно трудиться будешь – увеличу срок до ста дней, на весь аграрный сезон. Могу сдать тебя в аренду за мешок картошки в день. Кто позволил в колонии анашу курить?» Я опешил. Неприкрытая наглость речи охранника заставила меня тут же в тон ответить: «Я никогда еще этим делом не баловался: ни сигареты, ни анашу, ни гашиш в рот не брал. Откуда у меня деньги на все это? Но спорить с вами не собираюсь. Выбираю карцер, одиночку». – «Наглец! Что за дерзость! – рассвирепел майор. – Ты что, месяц в карцере хочешь гнить? Мечтаешь по собственному дерьму шагать от подъема до отбоя? Я тебе даже парашу в камеру не поставлю! Сволочь! Марш на вахту! Пойдешь с прапорщиком в усадьбу к Семихатовой. Твой рабочий день будет продолжаться с восьми утра до десяти вечера. Провинишься – тридцать розог и в карцер. У Семихатовой тебя денно и ночно станут охранять шесть кавказских волкодавов.

Попытаешься бежать – псы разорвут тебя в клочья. Так что помощи ждать неоткуда. Помни: всего лишь одна жалоба, намек на плохое поведение – и ты тут же окажешься в одиночке. На все лето. Туберкулез тебе обеспечен».

Разве после этой пантюховской тирады можно было поверить, что человек – это божественное создание, венец природы? Что он разумен, что мы одного с ним племени, что все мы одинаковы? Полная чушь! Никогда не верил в это и никогда не принимал умом и сердцем такой постулат. Чувствуя свою какую-то другую биологическую принадлежность, стремясь освободиться от тягостной мысли о собственном человеческом происхождении, я впервые категорично сам себе заявил: «Нет, я не человек, я совершенно не похож на *тех* людей, которые меня окружают. Я должен найти себя в нечеловеческом, искать себя в другой ипостаси. Там, где нет и не будет места тем горьким переживаниям, что мучают меня с самого раннего детства». Взволнованный этой неожиданной мыслью, я стоял перед майором Пантюховым. Влажный майский ветер трепал мои рыжие кудри. Было тепло, но, зябко кутаясь в арестантскую робу, я почему-то дрожал всем телом; меня лихорадило. Чтобы отвлечься от унижительной сцены, я без особого любопытства, даже как-то вяло взглянул на недригайловские городские окраины. На свежевспаханной черной земле по отлогим склонам местной впадины мельтешились люди. Тут уже с некоторым интересом я пригляделся: детей среди них не было. «Я взрослею!» – подумалось тогда мне. Так впервые я попал на принудительные работы. Нет, не судом был я к ним приговорен, а волей одного мелкого мерзавца, воспитателя колонии Пантюхова. «Вали на вахту, рыжая псина!» – вернул меня к реальности майор. Молча, глотая горькую слюну, я поплелся на вахту. Впрочем, тогда, в детстве, слюна у меня всегда горчила, словно кровоточащая рана. Но позже это прошло. Сейчас меня угнетала лишь тревога, что общение с людьми – непреходящий процесс. Ох, скорее бы закончить его! «Такой походкой на хлеб не заработаешь. Давай быстрее, вонючка!» – раздался окрик майора. Я уже научился не принимать близко к сердцу оскорбления, поэтому той же медленной походкой шел дальше. У вахты мне навстречу вышел прапорщик. Так, ничего особенного, обычный человек: злое выражение пьяного лица, бледные, невыразительные глаза, тяжелые, опухшие от водки кулаки. Козырек фуражки был задран к макушке – казалось, она вот-вот свалится; вместо сапог – спортивная обувь; на пальцах плотно сидели медные перстни. «Спать будешь на сене в сарае, – ультимативно заявил он. – Запрещено обращаться к хозяевам с просьбами. Они ни слова не должны слышать о твоём состоянии: мучает ли голод или жажда, страшно ли, устал ли работать, мечтаешь ли о свободе. Все эти мысли оставь в своей рыжей башке. Ты меня, надеюсь, понял? – Тут он шлепнул меня по затылку. – Все вопросы только через меня! Услышу хоть одну жалобу или руководство сделает мне по твоей вине замечание – мигом исчезнешь в яме с гашеной известью. Весной тут этих ям пруд пруди. Пшел! Поспешай! Меня уже Нюрка ждет, а тут тебя доставить надо. Тьфу!» «Какие они все похожие! – подумалось тогда мне. – Меняются только лица, фигуры и звания, а речь – одна на всех. Как будто они вызубрили текст какого-то неизвестного автора. Ой, не хочу его читать! Не дай бог, заставят вызубрить!» Я еле поспевал за быстро шагающим военным в гражданской обуви. «Так торопит, что даже забыл про мою вечернюю овсянку. Правда, жидкую, на воде, но все же теплую! – мелькнуло у меня в голове. – Впрочем, может, хозяйюшка накормит». Никакого опыта общения с женщинами у меня не было. Лишь пьющая тетка да несколько школьных учительниц. В Путивле это были еще молодые барышни, которые стеснялись приближать к себе таких уличных бродяг, каким был Василий Караманов. Да я и сам не стремился общаться с ними. Какая в десятилетнем возрасте связь с женщинами! Учителями!.. Очень скоро я убедился, что ошибался и насчет ужина, и насчет моих хозяев. Нет, не так устроена жизнь *этих* людей. Когда мы поравнялись с густыми зарослями шиповника, я услышал остервенелый лай собак. Тут же кто-то басом прогорланил: «Мол-чать!» Минуту спустя бас

повторил свое требование. Собаки перестали лаять, переходя на сдавленное рычание. Так злобно рычат лишь кавказские волкодавы, – у них при этом даже зубы стучат. Насколько помню, я к этому времени не очень боялся собак: они травили меня не раз в родном городе. Но месть моя – отчаянного живодера – была уже в прошлом. Сквозь кустарник я различил мощные тела животных. Собаки буйствовали у металлической ограды, но их остервенелость пугала лишь прапорщика. Он то и дело стонал: «Эй, хозяин, утоми псов». Тут из-за ограды вышел пожилой мужик. Во всяком случае, он таким мне тогда казался. «Ну что, паршивец, привел пацана? Чего такого сухоребрика? Сможет ли он по двенадцать часов работать? У меня не детский дом отдыха! Попробую пару деньков, если толку от него никакого не будет – заменишь. Завтра к Пантюхову с жалобой пойду, что доходягу прислал. Разве этот малолетка – работник? Возьми-ка самогон, вояка вшивый, и проваливай. Тебя, небось, Нюрка дожидается. А ты, штрафник, – обратился он ко мне, – иди за мной». Мужик отвел меня в сарай, показал на сено и направился к выходу. «А где еда, вода, туалет?» – бросил я ему вслед. «Ты это что, рыжий, в санаторий прибыл, в пионерский лагерь? Когда я за советскую власть воевал, мы мышей ели. Голод был! Вон в углу мешок овса стоит. Зубы у тебя молодые, протрут. И что ты за арестант, если про туалет спрашиваешь? Выйди за сарай! Места тут много». – «А собаки?» – спросил я. «Собаки, собаки! Привыкнете друг к другу. Завтра я подниму тебя в семь утра. Пойдешь свиней кормить. Потом огород прополоть надо, в поле выйти. Работы будет много. Это лучше, чем за оградой баклуши бить, на никчемные уроки время тратить». Он ушел, не сказав больше ни слова. «Хорошо, – подумал я, – надо обживать сарай». Тут необходимо отметить: мне было всего одиннадцать лет, по документам – тринадцать, но по жизненному опыту – все восемнадцать. Обычное явление: дети-сироты взрослеют рано. Поэтому для начала я деловито осмотрелся. Никакого света в сарае не было – ни керосиновой лампы, ни свечей. В середине мая темноло около девяти вечера. «Значит, – решил я, – совсем скоро наступит полная темнота». Я заторопился найти мешок с овсом. Для этого много времени не понадобилось: за мотыгой, облепленной свежей грязью, стоял заштопанный рыбачьей леской мешок. Влажный, прелый, смешанный с зернами других злаков овес вначале есть не хотелось. Впрочем, некоторое время спустя я как-то машинально, сперва медленно, как бы даже нехотя стал выбирать лучшие зерна; несколько из них взял на зуб. Потом, увлекшись, принялся искать зерна уже более старательно, очень скоро наполнил ими карман и энергично заработал челюстями. Не хочу вспоминать вкусовые ощущения, но скажу, что в том возрасте я ел практически все сырое, неспелое, и никакого особого пристрастия к еде у меня не было. Мой желудок перерабатывал все: от горьких лесных каштанов, сахарной свеклы, кислых диких яблок, сырых картофельных клубней, перепелиных яиц до обжаренных на костре черных дроздов, которых всю позднюю осень и зиму я отстреливал из рогатки. Единственным лакомством, которое я себе позволял, были капустные кочерыжки. Я забирался на колхозное поле уже на закате, когда красное солнце назойливым пламенем лезет в глаза, искал небольшие головки капусты, тщательно счищал с них широкие листья до самых кочерыжек и, смакуя, долго грыз их, прощаясь с огромным красным диском. Когда наступала полная темнота и есть мне уже не хотелось, я возвращался на пустеющие улицы Путивля. Одинокий образ жизни приучил меня к темноте: в ней я чувствовал себя более безопасно. А когда с улиц исчезали последние полуночники, я, шагая совершенно один по ночному городу, начинал чувствовать себя абсолютным хозяином жизни. Так хотелось быть один на один с собой и владеть этим пустынным, до боли моим миром!.. Первую ночь в сарае я спал без сновидений. Лишь изредка просыпался, когда в нос лезла солома. Наутро мужик был еще мрачней, чем в предыдущий вечер. Он лишь крикнул мне: «Вставай, рыжий пес!» – как-то вяло махнул рукой – дескать, поспешай за мной, – и пошел на выход. Пришлось торопиться. Тут со мной произошло невероятное событие: волкодавы, еще вчера готовые завалить ограду,

чтобы разорвать нас с прапорщиком в клочья, как-то очень дружелюбно подбежали и, прижимаясь к моему худому детскому телу, пошли рядом. Один пес даже лизнул мне руку! Это был первый поцелуй в моей жизни. Я не поверил! Но собака лизнула еще раз. Я ошалел от радости! Другой пес носом пытался достать мое лицо. Так, ласкаясь, они довели меня до свинарника. Каким-то еще не совсем понятным символом показалась мне эта трогательная история. Мне хотелось поделиться с кем-то своей радостью: впервые в жизни меня обласкали – пусть не человек, собаки! Но никакого собеседника поблизости не было, и я вдруг почувствовал, что уже не ищу его: он был мне совершенно не нужен. Я стал получать удовольствие от диалога между недокормленным малолеткой Василием Карамановым и умудренным опытом собственного Я существом, ищущим свой нечеловеческий статус и при этом всем своим внешним видом похожим на человека. Если вначале к этому внутреннему диалогу я относился как к забаве, чудачеству, то очень скоро беседы одного и другого Я стали для меня внутренней необходимостью. Разве может представить себе такое обычный человек: беседовать всю жизнь исключительно с самим собой? Каждый назвал бы меня психически больным! Параноиком! Слабоумным! Но я-то был в совершенном здравии. С кем же мне еще было говорить в безлюдной тесноте свинарника? Или в Путивле, или в детской колонии, в атмосфере ненависти, окружавшей меня? Если смотришь на мир с неприязнью, разве возникнет желание общаться с ним? Стать его составной частью? Конечно, нет! Вначале обитатели свинарника тоже встретили меня враждебно. Я горько пожалел, что прежде мне доставалось мало свинины на тарелках и в мисках. Ох, не те были повара, не те материальные возможности! Но в ходе пытливых раздумий у брошенного малолетки даже возникла первая творческая идея: было бы куда проще и выгоднее ухаживать не за дюжиной, а за одной большой свиньей. Если каждое из двенадцати животных весит около двухсот килограммов, то одна свинья новой породы может потянуть на все три тонны. Свиноводство стало бы куда более рентабельным! Да и я заимел бы мощного приятеля. Тогда я еще не знал, что существует такая наука, как генетика, что именно она способна помочь мне в поисках собственного Я. Впрочем, вскоре эти на первый взгляд ничемные для общения существа показали необыкновенные примеры дружелюбия. Они стали мне ближе, чем добрые волкодавы. В своих чувствах я продвинулся еще дальше: мне показалось, что я предпочел бы жизнь среди свиней жизни среди людей! Уже через неделю я переселился из сарая в тамбур свинарника и ощущал себя очень комфортно, потому что был ласково принят свинным стадом. Мужик виделся со мной редко, лишь каждый второй день я находил его скудные подачки: краюху черствого хлеба, несколько сморщенных луковиц, пару клубней картофеля да хамсу – мелкую соленую рыбешку. Но я не был голоден: мешок овса, кубышка посевного мака, желуди, сваренные для свиней, – всего хватало! Нет, вопросы еды меня вовсе не занимали. Я был занят другими размышлениями и упивался разговорами с самим собой. Как-то под вечер я нес из колодца воду, чтобы напоить свиней. За мной неслись домашние псы. Они почти всегда провожали меня по этому маршруту. Вначале я даже подумал, что они приставлены ко мне, идут по следу, чтобы я не сбежал, или что им поручено пресекать мои мальчишечьи вольности. Хотя разве до проказ мне было! Однако довольно скоро я понял, что заблуждался. Между нами возникла некая неуловимая приятельская связь. Известно, что разные виды животных нередко сближаются между собой более тесно, чем с человеком. Собаки остервенело лаяли на людей, часто рычали даже на своих хозяев, но оберегали и ласкали меня. Эти взаимоотношения с псами лишний раз подтверждали: выбранное мною для размышлений направление, в основе которого лежал посыл, что я не человек, было правильным. Так вот, иду я с ведрами воды – и вдруг через калитку во двор входит учительница, чей добрый взгляд всегда вызывал у меня в колонии сентиментальные мысли. Я улыбнулся, хотел было остановиться, поставить на землю воду и поздороваться. Но женщина, взглянув на меня, опустила глаза, ее лицо приняло злобное

выражение, она лишь выкрикнула собакам: «На место, предатели!» – и прошла мимо. Никакого желания остановиться, сказать слово, спросить о моем житье или учебе у нее не было. Я опешил и уже ей вслед сдавленным, обиженным голосом бросил: «Здравствуйте, Анна Клементьевна! Это я, Василий Караманов из Недригайловской колонии». Училка даже не обернулась. Она прошла мимо, как будто меня не существовало. Как будто перед ней было не живое существо, а полевой сорняк, оголенный ветром одуванчик. Это событие вынудило меня с новой силой возненавидеть человечество; желание стать другим существом во мне усилилось. Гадкий вечерний эпизод в барском дворе еще раз заставил задуматься: к какому биологическому виду я принадлежу? С болезненной настойчивостью я стал искать в себе черты характера и особенности сознания, которые фундаментально отличали бы меня от представителей человеческого рода. Но воспаленный разум ничего, кроме стремления к мщению, не выдавал. «Как так, – возмущался я, – эту женщину я представлял матерью, не только своей, но всех колонистов, а она из той же породы пантюховых!» Тут собака лизнула кисть, словно понимая мое состояние. Я пришел в себя, поднял ведра, полные воды, и понес в свинарник. От места моей работы до дома, в который вошла училка, было никак не больше пятидесяти детских шагов. «К кому же она направилась? – подумал я. – К мужику, что ли? Кто вообще живет в этом доме? Как выглядит мой хозяин? Кому принадлежит этот рубленый домина?» Я почему-то решил, что мрачный мужик был смотрителем этого захолустного поместья: видимо, его суровость, жадность, необщительность убедили меня в этом. Чтобы твердо знать, кто в усадьбе хозяин, а кто гость, я решил, дождавшись темноты, взглянуть в окна деревянного дома. Шел девятый час вечера. Я внес в свинарник воду, разлил ее по корытам, вышел в тамбур, или, на недригайловском сленге, в стайню, и улегся на зерно. Ячмень покусывал тело, словно струйки воды в душевой комнате детской колонии. Мне это нравилось. Желая продлить удовольствие, я то и дело переворачивался, сбрасывая прилипшие к телу зерна, чтобы затем вновь и вновь чувствовать их колкие прикосновения. Хотелось говорить, говорить много. Разговор с самим собой строился по принципу разделения собственного Я. Именно в те годы я понял, что размышлять и говорить с самим собой – это два совершенно разных занятия. Каждое из них было настолько самостоятельным и оригинальным, что нуждалось и в своем времени, и в особенном внутреннем состоянии. До полной темноты оставался час; меня этот срок для беседы с собой устраивал. При этом глазом и ухом я следил за тропинкой от дома до калитки усадьбы. Высказываемые мысли, свои и чужие, выглядели наивными, но были глубоко искренними. Что серьезного можно было ожидать от размышлений одиннадцатилетнего подростка, случайно прочитавшего всего лишь две книжицы – «Моделирование обуви: кожа в руках художника» Костяняна и «Перелетные птицы» Маргариты Ги? Впрочем, надо сказать, что книги эти я нашел случайно в куче бумаги, которую натащили сверстники, чтобы выполнить школьный план по сбору макулатуры. Но почему я выбрал именно эти книги? Я всегда был без обуви, – не буквально босой, но ходил в развалившихся ботинках с мусорки, которые к тому же были на несколько размеров больше, чем нужно. Нередко башмаки, составляющие пару, были разного фасона и цвета. Как я уже говорил, рогатка для меня была инструментом добывания хлеба насущного. Дрозды, дикие голуби, перепелки являлись предметом моей постоянной охоты. Если в первой книге я искал решение, как достойно обуть себя, то во второй – как эффективней увеличить трофеи, чтобы наполнить свой и теткин желудки. Бедность и непрекращающаяся борьба за выживание помогали мне развивать защитные функции организма, учили мириться с недоеданием, одиночеством, холодом, искать все новые способы обеспечивать себя всем необходимым. «А помнишь, – спросил я себя, – как в долгих скитаниях по Путивлю ты по лицам и повадкам выбирал мужчин, которые подошли бы к образу отца? Тогда тебе представлялось, что он вовсе не расстрелян, а затаился, чтобы подсмотреть за твоей жизнью, поведением, способностью

выживать в безотцовщине. Казалось, что он вот-вот появится, обнимет, накупит одежды, сладостей – и начнется новая жизнь. Ты даже пару раз приглядел себе возможных отцов, но дело дальше не пошло. Ты не смог признаться им в своем выборе». – «Конечно, такое никогда не забудется. Помню, как слезы наворачивались на глаза, обида сжимала горло». – «А не забыл ли ты, как однажды понравившуюся чужую тетку назвал мамой, а она в ответ бросила: “Проваливай, дурачок! Что, пряник решил выманить?” А потом даже добавила: “Иди, иди отсюда, мелкий мошенник”. Да, ты хлебнул много разочарований. Осталось ли в памяти, как всю четверть на большой перемене ты бегал на квартиру Хватайко, чтобы принести училке к обеду авоську с горячими щами, котлетками и кондитерскими изделиями, а она выше тройки тебе никогда не ставила и ни разу ничем не угостила? Хотя безмозглому сыну директора почты Штучкина и придурковатой дочери начальника водоканала Бабошкина она ставила пятерки и угощала маковыми бубликами». – «Ох, все помню, каждый день моего детства превосходно сохранился в моей памяти! Я даже помню, как в детском саду в средней группе я впервые стал ощущать по отношению к себе открытую несправедливость, может быть, даже враждебность. В нашем дворе росло с десяток тутовых деревьев. Заготовительная контора дала детсаду коконы шелкопряда, чтобы дети кормили их листьями шелковицы. Каждые четыре недели коконы, опутанные белоснежной шелковой паутиной, сдавались в заготконтору. Те мои сверстники, кто занимался этим делом, получали как добавку к ужину ложку повидла и шайбу хлеба. Воспитатели детсада ни разу не допустили меня к шелкопрядным столам. Они занимали этим делом соседских ребят или детей своих родственников и знакомых. Так что ни повидла, ни хлебных добавок я так и не увидел. Почему-то каждый взрослый хотел дать мне подзатыльник или обругать, а воспитатели искали меня только для того, чтобы поручить самую унижительную работу. Может быть, воспоминания о поступках моих родителей толкали их на это? Сейчас приходит на память, как вручали мне описанные трусы девчонок, чтобы я относил их к ним домой, а назад приносил сухие. Кому же дать такое задание, кроме как сиротской душе? Никто же за это с них не спросит! Не было случая, чтобы меня хоть кто-то поблагодарил, дал хотя бы маковку, сморщенную ягодку изюма! **Они** лишь рычали: “Почему она натворила такое?” – и шлепали меня по голове, как будто я нес ответственность за такие девчачьи недоразумения. Наверное, **им** казалось, что они дают пощечину моему отцу или поносят мою мать. Может, я сам, рыжий и худой, вызывал ненависть окружающих? Именно в детском саду номер три города Путивля меня впервые потянуло к одиночеству. Я почти всегда сидел где-нибудь совершенно один, вдали от воспитателей и сверстников. Лишь солнце ласкало меня, а взбалмошные бабочки вызывали интерес к жизни». – «Сохранилось ли в твоей памяти, как на уроке рисования в детский сад пришла корреспондент местной газеты “Путивльская правда”? Она взяла твой лист бумаги и ахнула: “Какая красивая Кремлевская стена! Как зовут мальчика? Об этом таланте необходимо написать!” К ней тут же подошла воспитательница, взяла твой рисунок и сказала: “Кремлевскую стену нарисовал Виктор Выпорков, сын начальника „Сумсельхозтехники“”. Ты удивился, но промолчал и отошел в сторону». – «Да! Как же такое забыть? А на следующий день в газете было написано, что “пятилетний Витенька Выпорков на уроке рисования старательно выводил Кремлевскую стену”. Или другой случай: кто-то из старшегруппников разбил окно в соседнем доме. Вся администрация детского сада всполошилась: хозяин дома был каким-то крупным хозяйственным начальником, а тот, кто разбил окно – сыном партийного босса. Чтобы снять проблему, – не ссорить же крупного хозяйственника и коммунистического лидера районного масштаба! – педсовет постановил: наказать Ваську Караманова. Меня на три часа поставили в угол на колени. Но тут произошла еще одна несправедливость. Наказание было увеличено на полтора часа, потому что владелец разбитого окна пожелал лично увидеть проказника, чтобы натрепать уши. Он прибыл позже, чем обещал. Меня лишили ужина, и я получил

несколько болезненных подзатыльников – рука у него была тяжелая. Но меня удивила пена на губах хозяйственника. Он лупил меня по затылку и неистово кричал: “Рыжая гадина, ты у меня узнаешь, как чужие стекла бить! Я тебе покажу кузькину мать, отпрыск уродов!” А я тогда подумал: “Вот вырасту, ни одного твоего стекла целым не оставлю!”» – «И ведь ты не забыл обещания?» – «Как забудешь? Долг платежом красен! Три года спустя в крещенские морозы я выбил у него в доме все стекла. Когда раздавался треск разбитого стекла и оно разлеталось по снежным сугробам, мне казалось, что изо рта хозяйственника выскакивают зубы и летят в розовощекие лица воспитателей, раня и царапая их. “Вот так вам!” – мелькало у меня в голове». – «По-моему, уже достаточно стемнело». – «Ты прав, пора подниматься, чтобы разглядеть, кто живет в этом доме». Я встал, глотнул из ведра воды, бросил несколько ячменных зерен себе на язык и вышел из свинарника. Пятьдесят шагов до бревенчатого дома я преодолел достаточно быстро. Впервые я оказался в запретном месте – у дома хозяина усадьбы и собственной детской судьбы. Прежде ареалом обитания служили для меня сарай, свинарник, огород, небольшое, около полугектара, поле и дорожки между ними. Тут я ежедневно работал и мог свободно перемещаться в любом направлении. Но находиться перед хозяйским домом мне было строго запрещено. Был бы постарше – чувствовал бы себя крепостным. Но в детстве мое сознание отягчали другие переживания. Когда я подошел к дому, то понял, что заглянуть в комнаты будет сложно. Мой рост – около ста пятидесяти сантиметров – не позволял осуществить задуманное. Я огляделся: рядом со мной цвела яблоня. Бледно-розовые лепестки неслись по ветерку, как майские бабочки. Едва я залез на яблоню, как тут же увидел Анну Клементьевну. Обнаженная, она, казалось, сидела на плечах мужика, ее ноги обвивали его шею, а руки были закинута за голову. Я тогда еще не понимал, что означало это странное положение человеческих тел. Мне не раз приходилось видеть в городском парке лежащих любовников, но так открыто, голых – впервые. Я отвел взгляд, попытался взглянуть в другие окна, но везде было темно и безжизненно. «Неужели она ему жена? Или любовница этого чудовища? Что, выходит, это она высмотрела тихого, забитого Караманова и подсказала Пантюхову направить беспомощного раба к ней на работу? Кормить и чистить ее животных, следить за огородом, полоть поле? Без платы, без кормления, без необходимого белья, постельного и личного? Без слова! самого короткого: здравствуй, привет, спасибо. На такое унижение ближнего своего готов почти каждый из *них*. Но я другой! На бесстыдство я не способен. Нет, я не из этой породы, я не из людского теста слеппен. У меня нет ни матери, ни отца. Может, это умысел каких-то тайных сил? Какой-то космический разум пожелал сотворить из такого, как я, – человеконенавистника? А я, дурень, глядя на ее благородное лицо в колонии, мечтал о материнской ласке! К чему мне все это человеческое? Кретин! Я ведь должен стремиться к другому. Значит, она и есть Семихатова! Ну и что? Тюремщица с благородным лицом! Помещица в облике моралистки!» Так в одиннадцатилетнем возрасте я еще глубже убедился в нечеловеческом своем происхождении. Но отчужденность подростка более экспрессивна, чем выражение тех же чувств у взрослого. Полный негодования, я спустился с дерева и поспешил в сарай. Сказать честно, никакого конкретного плана в моем возмущенном сознании не было. Но стремление своего *Я* к каким-то агрессивным действиям я сдерживал с трудом. Почему я несея в свинарник? Не знаю. Вошел в темную бывшую ночлежку. По памяти подошел к керосиновой лампе. Нашупал спички. И тут неожиданная мысль пронзила сознание: а почему не запалить этот хозяйский дом? Ведь когда один человек горит, то другим до глубины души радостно! Ведь в этом и состоит *их* суть: если стало плохо тому, кому было хорошо, – *они* устраивают праздники. По-детски радуются. Умиляются, плачут слезами удовольствия. Таким образом я окончательно попрощаюсь с человеческой породой. Этот прощальный огонь озарит душу нового существа, станет толчком к зарождению совершенно нового обитателя Земли. И с высоты своего уникального положения я стану наблюдать, как

пьяные, ожиревшие пожарные начнут с ленивым безразличием разворачивать брандспойты; как ржавые краны, выплюнув пару капель воды, расчихаются, чтобы потом замолчать надолго, до капитального ремонта; как заспанные соседи выставят в окнах **свои** счастливые физиономии, чтобы получить заряд положительной энергии на сон грядущий; как крики погорельцев утонут в радостных воплях толпы. Эта неожиданная идея обрадовала меня. За всю мою одиннадцатилетнюю жизнь у меня еще не было более счастливой мысли. Ошалев от такого сногшибательного решения, я схватил спички, охапку соломы и бросился к дому с ненавистными жильцами. Слабый оконный отсвет помог собрать несколько березовых поленьев. На солому я положил дрова, на дрова – опять сухой соломы, чиркнул спичкой – и пламя стало набирать силу. Его языки уже лизали первый пояс сруба. «Может, в основе преступления моего отца лежала ненависть к людям? И самоубийство матери объясняется теми же причинами?» Вдруг совершенно другая мысль пришла в мою детскую голову: «Что это я делаю-то, ведь я же не человек! Что это я своими действиями себя очеловечиваю? Нет! Прочь все людское! Видимо, меня толкнул к этому остаток человеческого в моей натуре. И поступки моих родителей тоже чисто человеческие!» Я испугался. Испугался того, что новая сущность, к которой я так мечтал приблизиться, могла стать такой же человечески мерзопакостной. Я бросился в свинарник, схватил корыто с водой, подбежал к огню и стал заливать его. Одного корыта не хватило. Я стал носиться к колодцу с ведром, чтобы окончательно залить уже тлеющий огонь. Собаки молча бегали за мной, словно понимая, что творилось в моей душе. Когда я убедился, что опасности пожара больше нет, я побрел в свинарник, чтобы распрощаться с друзьями-свиньями, потом обнялся с волкодавами и как-то очень спокойно, даже несколько торжественно открыл калитку и вышел со двора. «Куда ты сейчас отправишься, Василий? – спросил я себя. – Начну искать себя! Пора! Пора! Прекрасно, что этот поиск я начинаю в одиннадцать лет. А то ведь можно не успеть!» Я тогда еще не знал: Вселенной, чтобы сотворить человека, потребовалось тринадцать миллиардов лет. И какое получилось неэффективное творение! Великое искушение досталось поколениям – изменить в человеке человеческое. Но работа застопорилась, она не двигается. Самодовольство представителей человеческой породы, их несовершенный генетический ансамбль являются главнейшей помехой к самосовершенствованию. Надо же кому-то начать это нелегкое дело! Ведь если довериться лишь времени и пространству мутаций, то сколько сотен тысяч лет потребуются, чтобы, наконец, вывести новое существо, которое сменит порочный вид людской!.. Случай с попыткой поджога дома учительницы Недригайловской колонии стал на следующий день предметом бескончаемых дискуссий. Меня нашли спящим в лесу, избili кнутами, бросили в карцер, напрочь лишили горячей пищи, прогулок, четверговых бань. Как Пантюхов обещал, так и сделал: в карцере параша не выставлялась. Пришлось решать свои проблемы в камере... Юридическая ответственность в России наступает в четырнадцать лет. Мне было одиннадцать, по липовым документам – тринадцать. Но это обстоятельство совершенно не смутило Пантюхова, Семихатова и других управленцев детской колонии. Чтобы сделать меня юридически ответственным лицом, они опять переписали метрику. В новой метрике была указана новая дата рождения, еще на несколько месяцев раньше. Вот так я быстро вырос! Мое дело слушалось в судебной комнатке с облезлыми, пожелтевшими обоями не более трех минут. Судья, усталый человек с лицом такого же цвета, как и обои, и подпорченной эмалью на зубах, бегло зачитал приговор, и меня на пять лет отправили в колонию для несовершеннолетних преступников, в город Перевоз на реке Пьяна. Как же я должен был относиться к человечеству? Мог ли я *его* уважать? Хотелось ли мне походить на людскую породу? Нет и еще раз нет! Никогда! Впрочем, эта мысль поселилась в моем сознании еще в раннем детстве. И не было пока в моей жизни ничего, что заставило бы меня изменить свои взгляды. Как центральная газета «Правда» что в Путивле, что в Недригайлове,

что в Перевозе была одна и та же, так и психология людей в этих провинциальных городках России была одинакова у всех. Ментальность людей, окружавших меня, была тоже какой-то общей, как бы центральной. Оказавшись в Перевозе, я тут же попал в переплет. Представители администрации колонии требовали, чтобы я надел на рукав красную повязку и целый день прошагал по лагерной территории между спальными бараками, выставляя напоказ «красноту». То есть продемонстрировал не только лояльность, но и готовность к сотрудничеству с лагерной администрацией, вплоть до показаний против арестантов. А малолетние преступники с колотушками в руках уговаривали этого ни в коем случае не делать. «Жить в бараке с этими, – думал я, – и доносить на них другим, сидящим в кабинетах? Может, это людская логика, но никак не моя. Разве человек способен быть другом Василия Караманова? По-моему, таких данных у *него* нет». Мои колебания не понравились обеим партиям: и те и другие решили меня поколотить. Первые били днем, вторые ночью. В лагерной больнице я пролежал около ста дней, а когда в конце октября был выписан, получил распределение на должность помощника кочегара в местную котельную. Стремление к одиночеству у меня усилилось. Так, монотонно, отдалившись от активной лагерной жизни, я прожил почти пять лет. Я был единственным в лагере, кто ни разу не получил продовольственной передачи, не распечатал ни одного письма, единственным, кого не приглашали на свидание с родственниками, кого не освободили досрочно. Но я был и единственным, кто несколько раз перечитал все книги библиотеки. Именно здесь мои фантазии и влечения обрели невероятный размах. Я не хотел учиться, потому что в школе надо было общаться. А я хотел молчать. Я думал. Я вел диалог с самим собой. Зимой и летом я почти не выходил из кочегарки: работал, размышлял, вглядывался в звездное небо. Одних заключенных освобождали, других привозили, третьих переводили во взрослые колонии и тюрьмы. В один из последних мартовских дней меня вызвали на вахту и сообщили, что я свободен. Я и не заметил, как пролетели пять лет! Потребовали сдать арестантскую одежду и убираться на все четыре стороны. Эта новость меня вовсе не обрадовала: идти было совершенно некуда. Но она и не вызвала у меня никакого огорчения: не существовало нитей, связывающих меня ни с охранниками, ни с арестантами Перевозского лагеря. Мне было все равно. Я мог найти себя и в заключении, – впрочем, свобода давала мне такие же шансы. Перед начальником по режиму я стал раздеваться: сбросил бушлат, китель, тяжелые башмаки, носки, брюки, рубашку, майку. Когда начал снимать трусы, он вдруг заорал: «Отста-вить! Мигом получишь пятнадцать суток карцера за оскорбление офицера!» – «Вы же потребовали сдать лагерную униформу! Я лишь выполняю приказ». – «Иди в каптерку и переодевайся. Что перед носом свое веснушчатое тело демонстрируешь? Пошел!» – «Мне не во что переодеться», – вяло сказал я. «Как не во что?» – вскипел он. «Так! Я сирота. Когда попал к вам, мой рост был 159 сантиметров. Сейчас – 182». – «Не могу же я вот так просто дать тебе право государственное имущество присвоить!» Майор позвонил – видимо, в бухгалтерию, – и задал вопрос: «Караманову что-нибудь начислено? Девять рублей тридцать две копейки? А сколько стоит его форма? Как это? Вместе с обратным билетом двадцать три рубля сорок копеек? У него нет никакой личной одежды. Надо пересчитать». «За пятилетний срок я успел заработать целых девять рублей с копейками. Неужели и на воле так платят?» – пронеслось в моей голове. Бухгалтерия отобрала мой замызганный углем бушлат, тянувший на пять рублей, и взамен вручила обходной лист, в котором говорилось о перерасчете моего скромного капитала и государственного имущества – остатков арестантского платья. Мне выдали рубль семьдесят, охранник открыл дверь и, глядя мимо меня, бросил: «Вали, нерадивый!» Так в возрасте шестнадцати лет (по документам – почти девятнадцать) я вышел на волю. В карман кителя вложил свои документы – справку об освобождении и фальшивую метрику – и без особой радости шагнул за ворота. Пасмурное небо показалось как никогда серым. Снег сошел, было грязно,

сыро и многолюдно. Хмурые лица прохожих, их какая-то озадаченная походка и нервные движения конечностей вызывали у меня унылое недоумение. «Неужели на свободе всегда так противно и обреченно? Как же *они* могут жить в таком несправедливом мире? С таким извращенным сознанием? Ведь никакого будущего у *них* нет! Надо что-то предпринять. Но способны ли *они* на это?» – пронеслось в моей голове. Я шлепал по городским улицам, совершенно не понимая, куда направляюсь и какой маршрут необходимо выбрать, – а идти, собственно, было совершенно некуда. Передо мной простиралась огромная Россия, однако места, где бы меня ждали или куда можно было бы стремиться, в ней не имелось. Неожиданно я вышел на открытый рынок с покосившимися деревянными прилавками. Торговки предлагали картофель, красную свеклу, сушеные грибы, шерстяные носки и шали. Какой-то мрачный мужик продавал топоры, другой – лопаты, грабли, вилы. Рынок меня никак не заинтересовал. Сделав круг, я двинулся на выход. Здесь стояло несколько потрепанных автобусов. На одном из них прочел табличку: Перевоз – Княгинин. Заглянул в дверь машины, спросил водителя: «Сколько стоит проезд?» – «Тридцать копеек!» – ответил он. «Тогда я поеду». – «Поднимайся. Билет нужен?» – «Нет». – «Возьму с тебя на гривенник меньше». Через несколько минут автобус уже вез меня в старый приволжский городок. Так началась моя жизнь в Княгинине. Первое время я находил приют в автобусах. На ночлег забивался под длинное заднее сиденье, а днем шатался по улицам. Через неделю я нашел работу на тарном заводе. Мне выдали молоток, гвозди, отвели место, подбросили подсобный материал и научили сбивать деревянные ящики под водочные бутылки. За каждый ящик платили по десять копеек. Первые дни я успевал сбивать не больше десяти ящиков, но уже на второй неделе работы в конце дня перед моим рабочим столом выстраивалось их пятнадцать – семнадцать штук. Когда потеплело, я тайно перебрался ночевать в тарный цех. Мой месячный заработок составлял чуть больше пятидесяти рублей. К этому времени я уже прикупил себе на барахолке некоторые поношенные вещи, обрел цивильный вид, по справке об освобождении получил паспорт и стал задумываться над проблемой, все более меня волновавшей. Я начал понимать, что без знаний почти невозможно изменить себя, стряхнуть с себя все человеческое и обратиться в новое существо. В лагере я прочел все, что там было, и по несколько раз, так как книги менялись через десять – пятнадцать лет. Литература привозилась в основном патриотическая, где воспеваются человек и его деяния. Эти темы меня не интересовали, но я через силу читал библиотечные книжицы, преследуя совершенно другую цель: надо было вообще научиться читать, чтобы по-настоящему понять *их* мир и вести систематическую борьбу за скорейшее появление нового разумного существа. В старинном русском городке Княгинине, чей герб со времен империи украшал величественный лось, была неплохая библиотека. Именно тут я впервые познакомился с серьезными книгами. Теперь все свое свободное время я проводил в библиотечном зале. Человек меня не занимал: друзей у меня не было, с девушками я не встречался и не искал их общества. На первый взгляд, мои дни были однообразными, но на самом деле я постоянно находился в состоянии возбужденного поиска. Библиотека этого провинциального городка располагала к некоторым интеллектуальным вольностям. Например, первая мысль, по-настоящему подвигнувшая к изучению генетики, озарила меня во время чтения «Дневника Микеланджело неистового» Роландо Кристофанелли. Это желание было вызвано не чем иным, как человеческой завистью. Я пристыдил себя за непоследовательность, за то, что еще сохранил в себе людскую ментальность, – и стал воодушевленно искать секреты гениальности. Именно этот поиск неведомого привел меня в столицу. Все произошло чрезвычайно прозаично: я начал задавать неудобные вопросы местным библиотекарям. Меня интересовали книги, объясняющие природу гениальности. В Княгинине литературы на эту тему не было. И тут какая-то пожилая дама подсказала: «Езжайте в Москву, юноша. В столичных библиотеках вы найдете все, что вам нужно».

Впрочем, она окинула меня удивленным взглядом, – так смотрят на диковинную вещь. Видимо, я казался ей странным читателем: все вечера напролет проводил с книгами, на девиц не обращал никакого внимания, был всегда один, а тут еще заинтересовался генетикой. И не просто введением в общую науку, а самым деликатным ее разделом – гениальностью. Наверное, любой, кто заинтересуется такой темой, вызовет у стороннего человека настороженность и опаску. Зачем ему это? Не спятил ли он? А вдруг он потребует еще чего-то такого, ненормального? Что тогда делать? Итак, 21 августа 199... года я взял билет в общий вагон, собрал в мешок свои нехитрые пожитки и направился в Москву. Сказать откровенно, мне было все равно, где и как жить. Запросов к условиям собственного существования я не имел никаких. Единственным, к чему я стремился, чего упорно, порой даже болезненно упорно добивался, было одиночество. И мне, в общем-то, льстило мое упрямство, радовала стройность, бескомпромиссность мыслей, родившихся в далеком детстве. К кому я ехал в Москву? Кто меня там ждал? У кого я смог бы найти приют? Ведь у меня не было ни одной знакомой души в этом мегаполисе! Не из-за того даже, что у меня не было родственников, а потому, что *Я* и человек никогда не смогли бы сблизиться. Как совместное проживание олдувайцев и питекантропов завершилось полным вымиранием первых, как контакты между питекантропами и неандертальцами ни к чему не привели и питекантропы навсегда исчезли, как связь между неандертальцами и кроманьонцами не состоялась и неандертальцы перестали существовать, так и в противостоянии «человек и *Я*» первый должен кануть в Лету, остаться только на страницах истории, стать предметом лишь археологического интереса. Мы никогда не сможем существовать вместе! *Они* об этом пока еще ничего не знают, но я-то был уверен в своей правоте! Поэтому мне было совершенно все равно, где я окажусь в столице. Я ехал туда за знаниями, и ничто другое не представляло для меня ни малейшего интереса. Я видел перед собой лишь стопки книг, но людей не хотел замечать. В то время мне казалось, что я совершенно одинок в своем стремлении к новому виду существ, который должен сменить кроманьонцев. Оставшись сиротой, я очень рано решил бежать от всего людского, и здесь, в Княгинине, это привело к следующим размышлениям: в кенийском ущелье Олдувай были обнаружены следы австралопитеков, появившихся более полутора миллионов лет назад; в германской долине Неандерталь найдены останки гоминидов, просуществовавших сто пятьдесят тысяч лет и получивших название «неандертальцы»; во французском гроте Кро-Маньон были найдены свидетельства появления первых людей современного типа, живших уже более сорока тысяч лет назад и названных «кроманьонцами». Я появился в Путивле – значит, мой биологический вид с уверенностью можно называть «путивльцем». Надо же соблюдать академическую преемственность в антропологической последовательности! Однако это умозаключение вызвало у меня глубокую обеспокоенность: от Путивля до Москвы около четырехсот километров, – где я должен встретить вторую половину, чтобы продлить род путивльцев? В Москве? Но ведь все предыдущие места пребывания ископаемых видов существ – в Кении, в Германии, во Франции – были ограничены несколькими километрами. А у меня пространство увеличивается в сотни раз! Но, может быть, именно в столице я встречу женщину из Путивля, Недригайлова, Княгинина – и тогда все сойдется, антропологическая логика восторжествует: путивльцы придут на смену людям! Любовь здесь не должна играть никакой роли: возникновение нового вида – разве тут до sentimentальных чувств? Я буду обязан сделать то, к чему призван. Обязан! Как бы она, вторая половина, ни выглядела! Разве внешность может влиять на такие фундаментальные решения? Я же не человек! Я же горжусь своим уникальным статусом! Стремлением к совершенству вне рамок человеческого сознания, вне существующего биологического вида. Я был уже глубоко убежден, что кроманьонца изменить к лучшему невозможно. Как коньяк в дубовых бочках может стареть лишь сорок пять лет, а потом дубильный аромат прекращает обогащать

напиток, так и человеку хватило сорока пяти тысяч лет. Его интеллект и культура более не развиваются. Мутации не дают положительного эффекта, самосовершенствования не происходит. Это и есть конец одного из циклов эволюции и начало зарождения нового вида. С этими мыслями я торопился к поезду.

Билет до Москвы в общем вагоне стоил три рубля двадцать копеек. Я вошел в вагон, нашел свое место, залез на вторую полку, положил под голову мешок с вещами и, утомленный предыдущими размышлениями, быстро и крепко заснул. Мистика снов – совершенно не моя сфера, но именно в поезде, мчавшемся в столицу, меня посетили необычные видения. Они настолько глубоко поразили мое воображение, что я впервые получил истинное наслаждение, которого никогда ранее не испытывал и не знал. Удовольствие от увиденного я ощутил буквально сразу, как только оказался в приснившейся Москве. Огромный город; широкие асфальтовые дороги; марки автомобилей, о которых я никогда даже не слышал; роскошные магазины, переполненные заморскими товарами; рестораны, предлагавшие все мировые деликатесы; квартиры, обставленные элитной мебелью; кремлевские кабинеты с покрытой сусальным золотом лепниной; библиотеки, книжные фонды которых превышали все мои ожидания; новейшие системы наземной и противовоздушной обороны города – все это совершенно не обескуражило, не удивило меня, юношу из глухой российской провинции. Самую большую радость я получил совсем от другого: этот мегаполис изобилия, эта гигантская инфраструктура зажиточности, весь этот потрясающий по своему размаху капитал столицы бывшей советской империи, все, что представилось мне сейчас как наяву, было лишено главного: Москва была пуста! К своей радости, я не увидел ни одного из людей! **Они** исчезли! Испарились! Перестали существовать! И именно это престранное обстоятельство вызвало у меня нескончаемое наслаждение. Весь этот пятнадцатимиллионный город оказался моей собственностью, но мне он был совершенно не нужен, абсолютно для меня бесполезен. Я смотрел на всю эту человеческую роскошь и радовался тому, что **их** время закончилось, что первое существо нового вида – путивлец – ворвалось в этот мир, чтобы построить его заново. На совершенно другом физиологическом и моральном фундаменте! Так же, как нынешние люди, появившиеся в далекие времена в пещере Табун на горе Кармель, мечтали создать свой человеческий мир. И это у **них** получилось! Так и у меня получится. Я же совершенно другое существо! Как я пришел сменить **их**, людей, так после путивльцев придут другие – переделывать этот мир на свой лад. Ведь Земля будет существовать еще около тринадцати миллиардов лет. Сколько еще других биологических видов придут на смену друг другу! Тут противодействие бесполезно, баррикады не построишь. Чем раньше поймут это люди, тем безболезненней уйдут они в иной мир. Таков уж закон природы! Некоторые из **них** понимают, что у людей нет будущего. Но **их** мозги на собственное совершенствование уже не способны. Гомеостаз нарушен. Наступает конец эволюции этого вида. Ну как бы повел себя человек, оказавшийся на моем месте: совсем один в таком богатейшем городе, как Москва? В столице России? Сегодня? Поселился бы в лучших апартаментах Кремля. Присвоил бы все драгоценности Грановитой палаты; ежедневно менял бы автомобили; приватизировал бы Монетный двор; стал бы владельцем Центрального банка; таскался бы по окрестностям мегаполиса, оставляя за собственной персоной роскошные дачи; набил бы матрац золотом, подушку – драгоценными камнями. Жонглировал бы пасхальными яйцами Фаберже; под стельку для обуви приспособил бы Конституцию страны; напечатал бы свои портреты и развесил бы их по всем площадям, домам, квартирам города. Окружил бы себя ракетами «СС-20»; на Красной площади расставил бы несколько МИГов; перед каждой кремлевской башней припарковал бы танки «Т-90»; у подъездов кремлевских домов разместил бы установки залпового огня «Град»; на крыше своей резиденции поставил бы противовоздушный комплекс «Стрела», а в спальне – вертолет «Черная акула». Чтобы незваные пришельцы знали, кто он таков, на что способен, какой силой обладает! По прави-

тельственной связи, по теле- и радиоэфиру, по каналам ИТАР—ТАСС он провозгласил бы себя президентом, генеральным секретарем, руководителем парламента, главным русским, пупом земли! Вот она, человеческая сущность: запросы, увеличивающиеся до бесконечности запросы, упорное желание обладать всем полезным и бесполезным хламом поставили шлагбаум перед дальнейшей жизнью человека. Осознав это, я ощутил потребность громко закричать: хватит, товарищи! Баста, господа! Ваше время закончилось! Пришла *наша* пора! Мой новый биологический вид создаст совершенно другую цивилизацию! Мое презрение ко всему окружающему не знало границ. Тут я черпал силу в истории: как человек шумерской культуры был непонятен грекам, как этруски были загадкой для римлян, а римляне — изгоями для варваров, как варваров сменили средневековцы, а потом люди Возрождения, как люди Возрождения спасовали перед натиском капиталистов, как буржуазная ментальность переродилась в социалистическую, как социалисты уступили историческое место глобалистам, — так и современный человек сдаст без ожесточенного сопротивления жизненное пространство путивльцам. В этой логической последовательности была вся моя сила. Это только кажется, что между шумером и римлянином или между возрожденцем и глобалистом нет существенной разницы. Чепуха! Совершенно разные существа. Один отстаивал честь, другой — капитал, один приносил себя в жертву духовности, другой — насилию, один сковывал себя рамками христианской религии, другой провозглашал абсолютную свободу, один стремился к власти, другой — к анархии. Но все это были парадоксы мышления одного вида — *homo sapiens*, мутации одной эры — эры человека разумных. Не совсем точное определение. Напыщенное! Теперь должна наступить совершенно новая эпоха, эпоха путивльцев — вида, отличающегося ярко выраженным космизмом, — *homo cosmicus*. Существ, способных постичь все загадки Вселенной. Не только постичь разумом, но свободно перемещаться в этом огромном космическом мире. Стать его хозяином, настоящим венцом природы, а не жалким и убогим самозванцем. Ведь в сознании *homo sapiens* с первых дней его появления закрепился «пунктик»: выдавать желаемое за действительное. Разве венец природы позволил бы себе придумать такое количество богов, царей, вождей, кумиров и идолов во все времена своего присутствия на планете? Ну, кто же из них, подобедов, пантюховых, семихатовых, хватайко, штучкиных, выпорковых — а такими, похоже, заселена вся Россия, — венец природы? Кто из них отвечает статусу человека разумных? Способных понять себя и весь мир? Могут ли над разумом доминировать хитрость, алчность, ненависть? А присутствует ли разум в каждой человеческой материи? Видимо, лишь в редчайших случаях. Где-то я читал, что за всю *их* историю *они* одарили мир тысячей гениев. За сто тысяч лет — это приблизительно тридцать миллиардов человек, и только тысяча гениев! Слабо, очень слабо, люди! Да и список гениев подозрителен. Совсем неубедительный список! Сомнительный! Борис Годунов, император Карл Пятый, Алексей Ермолов, Глеб Успенский, Теодор Рузвельт, Вирджиния Вульф, Шарль де Голль, Алексей Толстой, Сэмюэл Тейлор Колридж, Мазарини и так далее. Разве можно *их* сравнить с настоящими гениями, такими глыбами, как Кант, Бетховен, Достоевский, Ньютон, Лев Толстой, Менделеев? А таких-то было не больше сотни. За сто тысяч лет! Это на одну тысячу лет — один гений! Разве *они* имеют право называть себя разумными существами?

Все, что связано с *homo sapiens*, очень неубедительно, чрезвычайно натянуто, противоречиво и не соответствует действительности. Достаточно пристально взглянуть на *их* мир, чтобы убедиться: дефицит разума — явление повсеместное. Во все времена чувствовалась острая потребность в разуме, но сегодня особенно, — когда каждый человек открылся, предстал на всеобщее обозрение. Теперь, как никогда прежде, свою сущность *он* торопится выражать открыто. *Он* внешне свободен, *его* можно тщательно рассмотреть. И что мы видим? Сотни миллионов лет создавался человек — и такое глубокое разочарование! И в прошлом, и в настоящем! Например, Горбачев подарил *им* свободу, а *они* проявили свою полнейшую

несостоятельность. Свобода сделала человека униженным, нерадивым и закомплексованным. Несостоявшийся homo sapiens, так называемое разумное существо, должен исчезнуть, уйти в историю. Как вымерли когда-то синантропы и туры, ирбисы, лошади Пржевальского и туранские тигры. Ведь в природе всегда появляется что-то новое! Оно развивается до своего максимального предела, потом стареет и исчезает навсегда. Именно так должно произойти с *ними*, с людьми. И не где-то в далеком будущем, а уже сегодня. Я лично готов ускорить этот процесс!.. В этот момент сновидения меня кто-то толкнул в плечо. Я проснулся и увидел перед собой помятое лицо проводника. Его глаза были выпучены, лоб исполосован царапинами, на скуле сидел свежий синяк. Мои видения тут же исчезли, внутренний монолог прервался, в горле запершило, я раскашлялся. «Вставай! Чего дрыхнешь? Поездка закончилась. Проваливай! Если хочешь спать – плати. Два рубчика до семи вечера!» – бросил он. Недовольный тем, что меня вернули в прежний мир, я нехотя слез с верхней полки. Однако утешительная мысль, что я в Москве, заставила меня поскорее подхватить свой полупустой мешок и выйти из вагона. «Эй, рыжий! Ты, дурень лапотный, шапку забыл! Забери, нечего у меня вшей разводить!» – крикнул проводник. «Да ну ее!» – подумал я и, не отвечая ему, зашагал по перрону Казанского вокзала. После моего радостного сна на меня опустилась тяжеленная грусть: Москва без людей? Как же! Какой издевательский сон приснился мне на пороге мегаполиса! Это что, чье-то желание посмеяться над убеждениями юного путивльда? Вон *их* тут сколько! Не перечесть! Голова пошла кругом, затошнило, захотелось сплунуть, перенестись в тарный цех, где сколачивают ящики. Только, Может, не для водки, не для овощей и яблок, а для каждого из *них*? Какая гадость это скопление народа! Никогда не думал, что *их* окажется так много. Тут я еще сильнее уверовал, что *их* время действительно закончилось. Ну и бог с ними! Зачем мне вообще думать о *них*? Я ведь сам по себе! Моя цель – лишь ускорить процесс. Чувство долга вернуло меня к реальности. Я прибыл в столицу, чтобы овладеть знаниями лучших из людей. И только после этого можно будет начать создавать новый вид землян, тоскующих по осмыслению макрокосмоса. Необходимо использовать знания предыдущих поколений, чтобы приблизить новую эру – эру homo cosmicus. Я еще точно не знал, как это будет происходить. Но чувствовал: в какой-то момент это чудо случится само собой. Я замечтался, готовый бросить всему миру: «Я – Василий Караманов, совершенно новое существо! Противник всего человеческого, трезвого и пьяного, творческого и упадочнического. Я прибыл в этот мир с великой миссией – озарить небосклон факельным шествием людей в потустороннее бытие». Тут, однако, полный надежд и гордости, я подошел к схеме московского метро. «Что тут найдешь, – мелькнуло у меня в голове, – это же целый неизвестный мир! А я ищу лишь какой-нибудь угол, каморку для жилья, ночлежку, заброшенный двор. Чем метро-то поможет?» Но дел никаких не было, идти было совершенно некуда, и я без особой надежды стал читать названия станций. Вдруг в самом центре карты я неожиданно наткнулся на название «Библиотека имени Ленина». «Вот что мне нужно! – пронеслось у меня в голове. – Да и станция названа в ее честь, ситуация благоприятствует успеху». С этими мыслями я ступил на эскалатор и направился по указанному адресу. Такого количества людей я никогда не видел. Несущиеся потоки пассажиров напомнили мне рой саранчи на гречишных полях Поволжья. А набитые людьми вагоны походили на маковые рулеты, которые старушка Хватайко посылала своей дочери, путивльской учительнице. Я сам на станции московского метро почувствовал себя именно той маковой крупинкой из плотно сбитых в ряд черных зернышек кондитерского изделия. А когда вагон поезда скрылся во мраке туннеля, у меня возникло ощущение, что я попал в ад, сотворенный человеком. Неведомое прежде чувство паники моментально сковало все существо. Меня с силой домкрата подпирали со всех сторон, – исхудавшее тело спрессовалось в комок страха. Кто-то стал навязчиво сжимать мужскую часть моего тела. Чья-то рука лезла в мой пустой карман. Острый каблук какой-то дамы больно уперся в мою ногу. На моем плече

кто-то пристроил клетку со щеглами. Люди, нисколько не стесняясь – более того, как бы даже сознательно и целенаправленно, – дышали на меня кто перцем, кто луком и чесноком. Мне вдруг показалось, что из меня хотят изготовить отбивную, что вот-вот я буду обжарен на чудовищной сковородке, а энергия жарки будет направлена против *homo cosmicus*. Я терял самообладание. «Как такое возможно? – думал я. – Еще ничего не сделано, но сколько всего намечено! Всю свою жизнь я хотел посвятить приходу путивльцев. Каждый день своего срока заключения, проводя дни в лагерной котельне, я мечтал о “Дне икс”, о том счастливом моменте, когда полностью исчезнет человечество. Я даже хотел помахать *ему* рукой: дескать, пока-пока, злой дядька! Надеюсь, что никогда больше не встретимся. Но такого финала я никак не ждал». Тут я услышал голос из динамиков: «Станция “Лермонтовская”. Следующая станция – “Кировская”». Поезд вынырнул из мрака в освещенный зал станции, затормозил, открылись двери, одна толпа вынесла меня из вагона, другая внесла в него, и поездка продолжилась. Мои прежние испуганные мысли пропали под упрым натиском пассажиров. «И *они* причисляют себя к разумным существам? *Их* поведение – это насмешка над интеллектом», – подумал я. Мне даже захотелось рассмеяться. Дунуть в кольцо большого и указательного пальцев. Свистнуть от радости встречи с ярким примером людской убогости. Выкрикнуть: «Ничего себе, умники! Эй, вы, люди из породы так называемых разумных! Торопитесь на кладбище! Пришла ваша пора!» Впрочем, это эмоциональное состояние достаточно быстро улетучилось, и я стал рассматривать соседей по вагону. Подумалось, что будет полезно взглянуть в незнакомые лица москвичей. Вдруг найду что-то необычное, отличное от волжских и сумских типов. «Может, встречу своих? – пронеслось в голове. – Не просто жителя Путивля, но моего, *нашего* путивльца, спешащего на смену кроманьонцам!» Увлеченный обдумыванием своей сверхидеи, я вдруг услышал: «Станция “Библиотека имени Ленина”. Следующая станция – “Кропоткинская”». Долго не раздумывая, я вышел на платформу, поднялся наверх, оказался на улице и увидел памятник Достоевскому. Несчастный, он так неуклюже сидел, что создавалось впечатление, будто из стула торчал острый гвоздь, травмирующий писателя. «Это так *они* ценят своих великих?» – подумалось мне. За памятником, через дорогу, на здании бирюзового цвета виднелась выцветшая табличка: «Приемная Верховного Совета РСФСР». «Остатки прежней империи», – мелькнуло у меня в голове. Я посмотрел направо: передо мной, в ста метрах, выросла кремлевская башня. Тут я вспомнил свою детскую обиду, когда воспитатели детсада солгали местной журналистке, что автором рисунка кремлевской стены был не Василий Караманов, а Витька Выпорков. «Нечему удивляться, ген вранья доминантен у этого вида млекопитающих», – сокрушенно признал я. Тут я обернулся назад: колонны внушительных размеров высились над подиумом. На всем верхнем фронте здания были рассажены изваянные из камня фигуры – видимо, очень известных писателей и ученых. Нескольких я признал, но большинство видел впервые. «Это и есть библиотека. Какая огромная! Целой жизни не хватит, чтобы прочесть все фолианты хранилища!» – тут же пронеслось в голове. Впрочем, торопиться войти в храм знаний я не стал. Я побрел по левой стороне вокруг здания, раздумывая совсем на другую, неожиданную тему: насколько правильно с точки зрения морали *homo cosmicus*, ненавидя в себе все человеческое, постоянно убеждаясь в собственном превосходстве над этим видом животных, посвящая свою жизнь уходу из природы человек и замене их путивльцами, тянуться при этом к знаниям прежней и современной цивилизации? То есть среди человек искать себе советников для уничтожения *их* собственного вида? Иными словами, использовать плоды *их* исследований против *них* же самих. Не противоречу ли я себе? Насколько эта мораль, характерная для человек, приемлема для существ будущего, к которым я себя причисляю? Или наоборот – совершенно неприемлема? Этот простой, но совершенно неожиданный вопрос застал меня врасплох. Но тут я вернулся к отправной точке: чтобы понять, как именно должен совершиться исход людей в другой, потусторонний, мир и приход на

их место нового, более сильного и разумного существа, я нуждаюсь в академических знаниях. А все книги – продукт мыслительной деятельности человека. Если знания исключительно людские, а я на них хочу опереться в выработке своей методологии, то человек разве не разумен? Может быть, какую-то, хотя бы самую незначительную часть людей – ну, скажем, полпроцента, – можно все-таки отнести к элитной категории? Тогда эту элиту, наверное, следует взять с собой в мир *cosmicus*. Согласен, что необычные мысли семнадцатилетнего паренька, жившего в полном одиночестве, перечитавшего лишь книги лагерной и городской библиотек, кому-то могли показаться наивными. Однако эти мысли, влекущие к новому миру, переполняли меня, и я стремился продвигаться по своему пути дальше. Усилить свой поиск, углубить знания. Но именно обходя вокруг известной столичной библиотеки, я впервые задумался, что вся ненависть к человеческому роду была у меня несколько незрелой, очень личной, никакими книжными трудами еще не обоснованной. «Посмотрим, что нового дадут мне книги в моем главном вопросе, насколько верна моя юношеская концепция, что путивльцы должны срочно прийти на смену кроманьонцам».

Впрочем, внушительные объемы московского книгохранилища стали все больше смущать меня. Порой меня охватывало желание вернуться на Казанский вокзал, найти свой поезд, дать два рубля проводнику и провести день на верхней полке общего вагона, а потом вернуться на Волгу, чтобы не подвергать себя разочарованию. Чтобы вдруг не принять сердцем и разумом род людской! Не согласиться с *его* правом существовать вместе с *homo cosmicus*. Ведь разбитая мечта – самая страшная вещь для увлеченного разума! Но тут я подумал о другом: а что если книги Дома знаний подтвердят правильность моих мыслей и это потребует от меня решительных действий? Не знаю, каких именно, но чрезвычайно смелых, необычных, великих с *нашей* точки зрения, но чудовищных, исходя из **их** морали? Если я пойму, что самые умнейшие книги писались не человеками, а случайно попавшими в этот чужой мир путивльцами? Ведь неизвестно, почему на картофельном поле иногда сам по себе вдруг вырастает сочный пшеничный колос! Что, мне придется организовывать вселенский пир с ядом в вине? Нет! Это слишком человеческий прием. Путивлец на такое пойти не может. Я могу согласиться лишь на чудо: например, в один час из двух полов сделать один. Женский или мужской? Нет, лучше женский! Или чтобы все в одночасье постарели! Все человеки стали восьмидесятилетними! А может, наделить священников, мулл, раввинов и брахманов удивительной способностью увлечь всех за собой в потусторонний мир? Это же трюк человека! Или чудо *cosmicus*? Нет, это **их** стиль. **Они** же веруют! Требуют свободного вероисповедания! Пожалуйста! Или каким-то образом поставить заслон деторождению: одних лишить яйцеклеток, других – сперматозоидов! Или вообще что-нибудь сверхинтеллектуальное: к примеру, ускорить вращение Земли вокруг своей оси в десять – нет, пожалуй, в сто раз. Сутки будут равны 0, 24 часа! Это две с половиной минуты в день, это девятьсот двенадцать минут в год. За восемьдесят лет – средняя европейская продолжительность жизни – пройдет семьдесят три тысячи минут. Переведем на биологическую возможность жизни человека – значит, за пятьдесят дней **они** исчезнут. Закончится **их** ресурс жизни! Или всего на каких-то пятнадцать градусов уменьшить или увеличить температуру на планете. За год-два **они** вымрут. Или усилить влияние генов ревности, зависти и мести в три, в пять раз. **Они** перережут друг другу глотки! Или изменить **их** ген питания, увеличить его воздействие на психику – **они** посядают друг друга; или, наоборот, сократить его влияние, нивелировать его атаку на мозг человека – разовьется дистрофия, и **они** запропасться в истории. Как сильно зависят люди от стабильности, гармонии природы! Лишь небольшое, мельчайшее ее изменение – и человеки больше не существуют! Ну что такое пятнадцать градусов плюс или минус, если известны высокие температуры Солнца и низкие, близкие к абсолютному нулю температуры открытого космоса! Я тогда еще не представлял, что придет мне в

голову десять, пятнадцать лет спустя. Ужас потряс бы меня полностью перед столичной библиотекой! Можно было бы поседеть в долю секунды! Меня чрезвычайно радовала радикальность идеи «опутивливания» человека; мне пришлось по душе те взбалмошные мысли о формах и методах исследования homo sapiens, которые я вынашивал; мне было отраднo встречать со стороны людей брезгливое презрение к собственной персоне; мне были по вкусу те мелкие шаги, которые я начал предпринимать, продвигаясь к заветной цели. Нет, пока в голове никаких четких планов, кроме одного, не было. Мои мозги сверлила главная мысль: быстрее получить знания, чтобы согласно морали путивльцев решить, как поступить с людьми дальше. Ждать их естественного вымирания или интеллектуальным штурмом ускорить этот процесс. Но другая, второстепенная проблема – как же вести себя по отношению к **ним** сейчас? – тоже не давала покоя. Я продолжал бы себя мучить этими вопросами, если бы вдруг передо мной не оказался музей Валентина Серова. На стене было объявление: «Ищем дворника». Не могу вспомнить, что толкнуло меня в этот музей в Староваганьковском переулке. Войдя в кабинет директора, я представился: «Василий Караманов, из волжского Княгинина. Могу работать дворником». – «Сколько тебе лет? – спросила директор, худощавая дама с лицом землистого цвета. – Говорят, что рыжие – задиристый, вороватый народ. Тебя не подослали ограбить наш музей?» – «Нет, я в Москве никого не знаю. По документам мне двадцать!» – «А волжская преступная группировка? Как там вашего атамана зовут? Тормоз? Или Термос?» – «Я с таким не знаком». – «Стаж работы есть?» – «Да! Пять лет в кочегарке. Истопник! Потом больше года сбивал ящики на упаковочном заводе». – «А в армии служил?» – «Нет!» – «Отказник, что ли?» – «У меня отсрочка на пять лет». – «Какое основание?» – «Я пять лет провел в колонии для малолетних осужденных. Отсрочка равна времени заключения». – «Так-так, – протянула дама, – в тюрьме, значит, сидел. За что?» – «Поджог частного владения». – «Жертвы, пострадавшие были?» – «Нет, не было». – «Большой материальный ущерб?» – «Нет, огонь сам потушил». – «Что ты лжешь? За что же тебе пятерку дали?» – «Не знаю. Впрочем, было не так уж плохо. Хоть книги мог читать. Если вам нужен дворник, то я готов поработать». – «Пьешь?» – «Нет». – «Где живешь в Москве?» – «Нигде. Только сегодня поутру приехал». – «Есть родственники?» – «Нет». – «Так где же ты будешь ночевать?» – «В сарае. Там, где складываются метлы, ломы и лопаты для уборки снега. Мне к неудобствам не привыкать». Одним словом, записала она меня в штат работников музея на испытательный месячный срок. Так я стал столичным дворником. В сотне метров от библиотеки и двухстах от Кремля. Серовский музей был открыт до восемнадцати часов. Каждый вечер я проводил в читальном зале. Именно здесь, после прочтения новых книг, я стал относиться к себе несколько критично. Когда я узнал, что Сен-Санс в пять лет сочинял замечательную музыку, антрополог Френс Гамильтон в шесть публично декламировал «Илиаду» и «Одиссею», Грибоедов в восемь лет поступил в университет, Лермонтов в пятнадцать закончил вторую редакцию «Демона», а в шестнадцать уже работал над «Маскарадом»; что Ренэ Декарт в семнадцать лет сделал величайшее открытие – «декартовы координаты», Галилей в том же возрасте открыл изохронность колебаний маятника, а Мендельсон-Бартольди создал симфоническую увертюру «Сон в летнюю ночь»; что Эразм Дарвин в восемнадцать написал свой труд «Зоономия», – я пристыдил себя. Я словно почувствовал вызов, который бросали мне человеки. Как будто кто-то из них настоятельно спрашивал: «А ты сам, путивлец, на что способен-то? Уголь в топку бросать, ящики сколачивать, на библиотечной скамье брюки протирать, читая книги ученых разных времен? И при этом все время поругивать наш антропологический вид! Сам-то ты кто есть? Что в тебе такого примечательного, отличного от всего рода людского? Да, рыжие волосы в России не так часто встретишь. Согласен, ты не ищешь материальной выгоды. Могу подтвердить: тебя не интересуют карьера, партии, бизнес, отношения с людьми, одежда, внешний вид. Ты предпочитаешь

одиночество шумным компаниям. Не пьешь, не куришь, не увлекаешься наркотиками. Но таких очень много! Тебе приятней поваляться с книгой, чем с женщиной. Ты чаще мечтаешь, чем осуществляешь свои планы. Но что еще? В чем же твое отличие? Что в тебе от cosmicus? Размышления об отторжении всего человеческого? То, что ты обижен? Оскорблен? Таких много на мостовых и кладбищах! Твои мозги работают иначе, чем человеческие? А где свидетельство-то? Еще никакой уникальный продукт не создан! Никто не ведает о твоих планах, никто не знает тебя. Люди могут не обратить на твое пришествие никакого внимания. Доказательств-то ему нет никаких! Пришел ли ты сегодня в этот мир или помер вчера, помрешь завтра, через девяносто лет! Ты же сам не следишь за полетом мух, за лаем собак, за криком новорожденных. А кому в голову придет наблюдать за тобой? Прислушиваться к твоим мыслям? Все представления об исходе кроманьонцев живут лишь в твоём воспалённом сознании. Народ счастлив! Он мечтает измениться лишь с точки зрения материального достатка. Вчера имел один рубль, сегодня хочет иметь сто, завтра тысячу. Все! Проблемы, о которых ты размышляешь, не интересуют человека. Предъяви невидальщину! Покажи хоть в чем-нибудь свои сверхспособности! Для полноты впечатлений о мире человека окупись в криминал, позанимайся культурой, политикой, искусством, наукой, чем хочешь! Действуй, утверждай свой уникальный вид cosmicus!» Именно после этого случайно возникшего разговора с самим собой я впервые начал искать чудо не вне, а внутри себя. Внутренний голос подсказывал мне, что оно есть, что оно не где-то далеко, а тут, рядом, готовое явиться по первому зову. Достаточно лишь распахнуть шторы сознания, и чудо предстанет во всей своей мощи. Через огромное библиотечное зеркало я обменивался взглядами с самим собой и думал, что история цивилизации посылает мне беспощадный вызов, посягает на убеждения, сложившиеся за годы размышлений. Мне невозможно было даже представить, что моя главная идея могла быть кем-то разбита и уничтожена. Но было бы куда болезненней и горше, если бы я сделал это собственными руками. Если бы предал её или потащился бы за другой мыслью, то есть нежданно и негаданно лишился бы стержня жизни. Я заставил себя успокоиться. Остыть. Прошелся вокруг библиотеки – это был мой излюбленный маршрут. Решил временно ничего не менять в быту, жить той же затворнической жизнью дворника и читателя библиотеки. Но непрестанно думать, каким же образом проявить себя, чем же хотя бы себе самому доказать, что я настоящий путивлец, а не человек, выживший из ума. «Если, – думал я тогда, – я начну доказывать всем, что я представляю будущий вид землян, то меня засмеют. Обвинят в человеконенавистничестве. Посадят в психушку! Или во Владимирскую крытую, в Пермскую межреспубликанскую. Тюрем у *этих* много, место *они* всегда найдут. Необходимо доказать хотя бы себе самому, что я cosmicus. Я должен быть в этом уверен! Тогда, с открытым забралом, я имею право использовать все знания, весь свой природный дар для изгнания человека в архивы истории. Но если я не истинный путивлец, то делать мне это категорически нельзя. На кого тогда оставить этот мир? Кто именно тринадцать миллиардов лет станет хозяйничать в нём? С этим делом нельзя торопиться. Для дальнейших стихийных мутаций должен остаться исходный материал, а им может быть лишь кроманьонец. С каким превеликим удовольствием я прослеживал бы дрейф генов, случайные флуктуации этих основных составляющих любого вида! Захватывающе интересно наблюдать, как сама материя скрупулезно, по атомам составляет генетический ансамбль нового вида землян. Но как подсмотреть за этим чудом? Где таинственная замочная скважина, позволяющая наблюдать за деланьем новых существ? Кто будет следующий, за cosmicus? Каким образом проследить за суперколдунами, магами, манипулирующими полиморфизмом длины рестрикционных фрагментов ДНК? Как созерцать фантастический перенос генных грузов в соматические клетки или наслаждаться бессознательной логикой спонтанных и индуцированных мутаций, удивляться аберрациям

хромосом? Ведь зрелище-то великолепное! Может, создать собственную лабораторию? Проводить опыты? Посвятить себя экспериментам генной инженерии? Или пойти на работу в академический исследовательский центр? Стать научным работником? Нет! Нет! Идти к человеку пока никак нельзя! Я ведь уже решил: вначале надо поставить точный диагноз – кто я? Из какого вида? Кроманьонец или путивлец? Человек прошлого или существо будущего? И лишь потом можно принимать окончательное решение». Тут мне в голову пришла совсем другая мысль: человек делится между собой по ранжиру. Если несколько лет тому назад в высшие слои общества **они** попадали лишь по занимаемой должности, по партийному портфелю, то сейчас все больше – по капиталу. Интеллект и происхождение не играют абсолютно никакой роли. Мозги востребованы лишь коммерческие, авантюрные. Криминальное мышление является сегодня самым актуальным для россиян. Лишь люди с извращенным воображением достигают высот элитной породы, становятся героями своего времени. А все остальные мечтают походить на такие высшие личности: попсу в криминале, в культуре, в коммерции, в политике, в науке. Деградация вида началась, она ускоряется, она торопит движение к краху. Наиболее умные из **них** осознали приближение этого краха. Попробовали даже создавать банки спермы выдающихся человек. И что? Какой результат? Ноль! Может, чтобы эффективнее смоделировать путивльца, спроектировать его абсолютно свободным от человеческих пороков, необходимо углубиться в **их** природу, тщательно исследуя тотальный упадок нравов и поток вожделений? Это поможет понять, какие гены кроманьонцев сохранить в cosmicus, а по каким пройти огнем и мечом, чтобы стереть их напрочь с лица земли. Скажу откровенно: эта мысль взбудоражила мое воображение, и я все чаще стал раздумывать, с чего начать свой эксперимент. Но тут я оказался в крайнем затруднении: в какой области изучать несовершенства человек, чтобы изнутри понять **их** сущность? **Их** природу? Помощников у меня не было, я должен был полагаться лишь на самого себя. Прекрасно понимая, что для успешного вхождения в роль человеческого грешника необходимы артистические способности, я задался вопросом: а есть ли они у меня? Если есть, то в каком объеме? Впрочем, чтобы не тратить время попусту, я, сидя у библиотечного окна, стал всматриваться в поток людей, несущихся к зданию Генерального штаба Вооруженных Вил. Большая часть была в армейской форме. С утомленными, серыми лицами, **они** неслись мимо, почему-то напоминая мне грязный песок, выметаемый мной с московских мостовых. «Я же пообещал себе более уважительно относиться к людям, – мелькнуло у меня в голове. – К чему такие грубые сравнения? Это же представители **их** биологического вида писали умнейшие книги, которыми забит Дом знаний. Это же **они** придумали термин “толерантность”. Необходимо соблюдать именно толерантность по отношению к **ним**». Тут я представил, что мое воображаемое орудие производства заработало в каком-то бешеном темпе, и мне показалось, что походка пешеходов стала еще стремительней. Они словно вылетали из-под моей быстро работающей метлы, молниеносно исчезая со столичных улиц. Именно здесь мне впервые пришли в голову криминальные сюжеты, вспомнились истории, слышанные в лагерной жизни, как «фармазоны» «ловили» у Генерального штаба «лохов-офицеров», предлагали им завышенные курсы обмена валютных чеков, имевших хождение в магазинах «Березка», а вместо денег вручали «куклы» – нарезанную бумагу. «Может, с этого начать вхождение в людской мир? – подумал тогда я. – По отдельным фрагментам **их** убогости убеждаться в несостоятельности человек? В **их** самозабвенной алчности? Ведь если чек или любая другая вещь стоит рубль, а тебе предлагают три, то разве это не повод задуматься? Усомниться? Отказаться от подозрительной сделки? Ген наживы у этих homo sapiens – доминирующий! Мне кажется, **их**, прежде всего, погубит тотальная всеядность. Они всё хотят, притом не так, что один мечтает иметь машину, другой – дубленку, третий – любовницу, четвертый – пачку денег! Они хотят всё одновременно, притом сразу и в невероятных количествах. Как по волшебству! Раз –

и всё тут! Разве эти желания можно отождествить с высокой идеей человека разумного? Для обладания всей этой мишурой они лгут, преступают закон, ломают витрины, убивают друг друга, калечат судьбы, захватывают власть, присваивают чужое! Чтобы ощутить силу гена криминальности, я, пожалуй, пробуду в роли “фармазона” один год...» Я готов был с головой уйти в эти видения, но спохватился, прервал их, сдал библиотечные книги и вернулся в свою берлогу в Староваганьковском переулке. Мое убежище представляло собой нечто вроде сложенного из кирпича обветшавшего сарая с крышей, покрытой залитым гудроном толем. Пол из подгнивших в щелях досок был ниже уровня двора на полметра. Единственное крошечное окно, смотревшее прямо на музейный вход, было наглухо заделано старым картоном. Но я был чрезвычайно доволен казенным жилищем. Это холодное помещенье, оборудованное печкой-буржуйкой, вполне подходило для такого предпочитающего аскетизм типа, как я. Едва я оказался на своем тьюфяке, как прервавшиеся было раздумья возобновились: «Потом необходимо надеть на себя маску представителя культуры, – тут потребуется два года. Совершенно не знаком с этой публикой, но чувствую, что получу ожог, как будто от соприкосновения с синильной кислотой! Тем самым подтверждаю реальность моего генетического неприятия всего человеческого. Затем войду в роль политического активиста, – на эту деятельность уйдет три года. Не ведаю, чем именно придется заниматься, но готов поклясться, что прагматизм данной профессии вызовет у меня постоянную рвоту. Чтобы понять человеческий феномен жажды власти, мне понадобится ломать себя. Возможно, от общения с политически ангажированным лицом я стану страдать тяжелой формой диареи. Известно, что заносчивость политических карьеристов, как правило, порождает душевную глухоту и постоянное расстройство желудка. А завершу я свое пребывание “в людях” в амплу ученого, – тут двух-трех лет мне должно хватить. В этот период моим спутником жизни, скорее всего, станет недоумение: почему *они* так мало делают для изменения собственного биологического вида? Он же так убог, несовершенен! Может, *им* не хватает истинного прозрения? Или бесчеловечность кроманьонца, переходящая в перманентную борьбу с самим собой, предопределена в ансамбле генов? Итак, я должен непременно в течение всего этого времени заниматься исследованием природы человека в его среде обитания. И лишь после многолетнего путешествия в человеческие пороки я, наконец, окончательно решу: торопить человечество к исходу или продолжить упоительные раздумья над этим вечным вопросом моего бытия». Погруженный в такие мысли, я вышел из своего убежища, поспешно подмел улицы, выбросил в контейнер мусор, во дворе освежил вывеску «Выгул собак запрещен», закончил работу и опять заторопился в свой чулан. «Чтобы начать заниматься аферой, – подумал я, – необходимы деньги для их пересчета перед глазами клиента». За год работы дворником я перечитал сотни книг: Баженова, Каннабиха, Кунина, Дубровского, Гариса, Ленца, Оуэна, Кешмана. Я обдумал множество планов, связанных с приходом путивльцев. Но мне всегда казалось, что основной проект впереди. Что мне еще недостает необходимых знаний, чтобы по-настоящему начать свою главную деятельность. За время службы дворником я успел собрать четыреста семьдесят рублей. Нет, я вовсе не экономил. Не ограничивал себя ради сбережений. Что нужно путивльцу, кроме скромной пищи и необходимой одежды? Номинальная стоимость чека – один рубль. Чтобы клиент клюнул на сделку, необходимо предложить ему три номинала. Значит, мне нужно искать человека, желающего продать сто пятьдесят чеков. Надо разменять свои деньги на десятки, подготовить бумагу под их размер, подрумянить концы, сверху и снизу положить натуру, обернуть пачку в прозрачный полиэтиленовый пакет – и кукла готова. Потом куклу положить в левый карман, а натуру в такой же прозрачный пакет – в правый. «Откуда мне все это так подробно известно? – испуганно подумал я. – Да, слышал! Рассказывал кто-то из заключенных. Но почему запомнил, как прилежный ученик, почему так надежно сохранил в памяти? Что же, все

человеческое входит в сознание и укладывается в нем помимо моей воли? Как так? Или это указывает на особенные способности *cosmicus*? Странная история. Надо пристально последить за собой». Потом я подумал о необходимости спрятать под парик волосы. Рыжих-то в Москве единицы! Но сколько же он стоит? К париксу необходимо иметь еще очки, усики, бакенбарды. Аферист, как артист на сцене, должен иметь свой образ, свою легенду. Как тут без нее? Она должна быть правдоподобной и немного сентиментальной. **Они** это любят. Например: я – студент медицинского техникума, приехал из Твери купить своей невесте свадебное платье. В провинциальном городе это невозможно. Деньги дал отец, работающий начальником цеха на винном заводе. Пожалуй, все! Но внешний вид необходимо менять каждый раз. Тогда я еще не придавал серьезного значения разлуке со своим обособленным миром, с постоянными размышлениями о своей нечеловечности. Молодость! А пока радостная музыка звучала в моих ушах, и я замечтался, поверив, что мое хождение «в люди» – это ключ, открывающий настежь ворота толпе путивльцев. Тут, спохватившись, что пора узнать стоимость парика, я понесся в парикмахерскую, что была на Большой Милавской. Оказалось, что цена парика – десять рублей, а усы и бакенбарды предлагались по пять. Получалось, что на «куклу» мне надо было израсходовать двадцать рублей, на внешний вид – еще двадцать. Итого – сорок. Эти расходы давали мне залог прочности, гарантию безопасности. Четыреста семьдесят минус сорок будет четыреста тридцать рублей. Мало. Да, еще очки! Ну, очки стоят рубль – полтора. Самые простые – и того меньше. Такие деньги у меня есть. Только сегодня, подметая улицы, нашел тридцать копеек. «А может, как раз хорошо, – подумал я. – Трогательно: у паренька-очкарика не хватает двадцати рублей, если цену определить в три рубля за чек. С этого пассажи можно начать знакомство с клиентом... Но почему я так воодушевился? Неведомая страсть вскружила мне голову. Я чувствую, что меня эта история стала увлекать. Да что с тобой, Василий Караманов? Я должен заставить себя влезть в эту жизнь, а не нестись туда без оглядки, воодушевленно, как в летнее путешествие на Кавказ. Успокойся, путивлец! Непозволительно тебе раньше времени и без толку натягивать на себя маску человеков». Я медленно поплелся к себе в сарай. У меня была странная походка. Я никогда ничем не интересовался, кроме книг, поэтому при ходьбе никогда не рассматривал ни архитектуру домов, ни контуры автомобилей, ни лица людей, ни витрины магазинов. Глаза были открыты, но шел я как слепой. Если бы кто-то спросил, сколько этажей в ресторане «Прага», или в Государственной библиотеке, или в здании Государственной Думы, попросил бы описать женщину, – я бы спасовал, запнулся. Я не помнил, кто является Председателем правительства, не смог бы напеть мелодию гимна. Это был не мой мир, я никак не хотел уместиться в его пределах. Нет, решительного отказа общаться с **ними** у меня не было, – иначе я поселился бы где-нибудь в глухой, безлюдной тайге, стал бы полным отшельником. Но я всегда старался оставаться в стороне от человеческих страстей и нравов в надежде изменить не только их убогость, но весь мир в целом. А добродетель я понимал лишь как избавление от всего людского. Каждому свое! Вернувшись на свой тюфяк, я стал размышлять, каким должен быть первый шаг в быт, присущий исключительно *homo sapiens*. Семнадцать лет не общаться с этим миром, не иметь близких, приятельских отношений ни с одним живым существом, не принимать ни умом, ни сердцем **их** ментальность, не иметь за всю жизнь ни одного душевного диалога с **ними** – и вдруг, в одночасье, вступить в контакты с людьми! Это было трудным решением. Но собственный протест был сломлен, необыкновенная воля *cosmicus* взяла верх над предубеждениями. Я уже окончательно решил: завтра, после утренней уборки, без какого-либо предупреждения оставлю свой пост дворника и направлюсь к Генеральному штабу на промысел. Я взял осколок зеркала и всмотрелся в свое лицо. Мне показалось, что оно стало меняться. Совершенно незнакомое выражение обозначилось на нем. Сосредоточенность исчезла, яркость глаз угасла, уши обвисли,

волосы взъерошились, бледность стала синюшной, веснушки потемнели, все лицо приняло какой-то виноватый вид. «Неужели это навсегда? – испуганно подумал я. – Ничего себе физиономия! Я похож на ленивого студента-двоечника. Такие целыми днями просиживают в курительной комнате библиотеки». Кстати, под каким именем выходить к людям? Караманов? Нет, никогда! Зачем марать имя путивльца? Может, взять имя фармазона-кидалы Пошибайлова? Он-то был юным, но закоренелым преступником. Пошибайлов показушно, даже по-актерски талантливо отказывался от красной повязки – милицейского символа сломленности преступного духа арестанта, – от ходьбы строем и еды в лагерной столовой. Тут я вспомнил, как каждый зэк, получавший передачу, был обязан посылать к столу «смотрящего за зоной» добрую половину полученных харчей. После отбоя Пошибайлов имел обыкновение расслабляться, рассказывая о «подвигах» в своей преступной жизни. Именно тогда я впервые услышал о «лохах» и «куклах». А как же его звали? Алексей, что ли, или... Другое имя на ум никак не приходило, поэтому я решил, что «в людях» буду называть себя Алексеем Пошибайловым. Поморщился: «Фу, гадость какая!» Выглянул на улицу: стемнело. Погода портилась, стал накрапывать дождь. Словно заноза, сидела в голове мысль о завтрашнем перевоплощении в человека. Самочувствие было мерзкое. «Не первые ли это симптомы очеловечивания? Раньше я почти всегда был равнодушен к окружающему миру. Но что со мной сегодня? Избыток адреналина давит на психику?» – подумал я. Имею полное право полагаться на свою память: я тогда был слишком стыдлив и необычайно горд, чтобы вот так просто, по щелчку пальцев не только войти в людской быт, но начать внедрение во все человеческое с аферы, с нарушения *их* законов. «Почему внутренний голос толкнул меня начать изучение homo sapiens с криминала? – пришло мне в голову. – Вдруг все это вздор? Наваждение? Плод больного воображения? А что если меня арестуют, осудят на несколько лет? Как же моя главнейшая цель? Смогу ли я к ней пробраться сквозь лабиринты современной цивилизации? Понять главное? Ведь именно для этого я появился на белый свет!» Впрочем, если я в самом деле cosmicus, то остерегаться мне ничего не нужно. Смешно чего-либо опасаться. Быть ничего не может! Я же выше *их* по разуму! Мне нет надобности страшиться ареста; бояться, что в «культурной среде», куда я сделаю свой второй шаг, я не выстрою свою исследовательскую линию; трусить, что политическая элита не будет мною покорена; робеть, что в науке я останусь без внимания. Ведь путивльцы призваны покорить этот мир! Тут я в искреннем восторге беззвучно прокричал: «Вперед! Вперед, друг Василий Караманов! – и тут же себя одернул: – Пардон, ошибся. Не Караманов, а Алексей Пошибайлов! Покажи *им* свой талант нового гения землян, предъяви *им* недюжинные способности cosmicus, одержимого идеей сверхчеловеческого потенциала. Это тебе просто необходимо, чтобы смело создавать каноны собственного бытия. А то, кроме нелюбви к людям и желания вытеснить *их* из истории, ты еще ни в чем себя не испробовал». Окончательно успокоившись, убедив себя в необходимости реализовать свой дерзкий план, я решил действовать. Я начал с того, что надумал заставлять себя все претензии к собственной персоне высказывать открыто и без обиняков. Совершенно ничего не таить от самого себя. Человеки этим прекрасно пользуются! Потом перешел к практическим делам: взяв ручную машинку, стал под ноль состригать густую рыжую шевелюру: безволосая голова позволяла комфортно носить парик. Примерил очки, надел единственную куртку, которую купил у пьяницы за четыре рубля. Помню, продававший, получив деньги, в слезах сказал: «Что мне куртка? Бутылка для здоровья вещь поважнее!» «Какое у *них* мнимое разнообразие быта, поведения, стилей жизни! Они перегружены ничемными мелочами, – подумалось мне. – Что за прок менять куртку на водку, носить одежду разных фасонов, есть различную пищу, влюбляться в каких-то женщин, высказывать отличные друг от друга политические идеи, эстетические пристрастия? Один стремится быть директором, другой – бухгалтером, секретарем, дворником... Что за чехарда! Тусклые,

надуманные идеи! Совсем другое дело у путивльцев: *нас* занимает лишь многообразие духа! Пылкое, неувядающее желание приблизить *наше* время! И нет ничего другого! Нет ни бесплодия, ни наивности, нет угодливости и сентиментальности, алчности и подхалимства. Перед *нами* только пространство духа и время созидания. А у *них* столько мусора... Как *они* успевают жить, думать? Трудно представить *их* убогий мир впечатлений». С этими мыслями я вышел во двор. Никакого плана в голове не было. Двор выглядел уныло, как в середине осени. Прошедший короткий дождь оставил лужи, в которых отражались голые тополя; плескавшиеся воробьи крыльями разбрызгивали дождевую воду. Не останавливаясь, я пошел дальше и вышел в Староваганьковский переулок. «Необходимо присмотреться к людям, – мелькнуло у меня в голове, – я же с *ними* совершенно не знаком. Может, *они* чуть лучше, чем я о *них* думаю?» Но тут совершенно другая мысль стремительно перебила прежнюю: «Если на тысячу лет рождается один гений, то кого я мечтаю увидеть на Воздвиженке? Несутся люди, в Москве их миллионы. Но кто из этих бедолаг может быть мне интересен? Как собеседник, как тот равный, который вызовет уважение? Все *их* хлопоты и заботы – это потребительская корзина. Не духовный кладезь, не проблемы мироздания интересуют *их*, а всего лишь бытовое благоденствие. Новые туфли, блузка, жакет, пальто, портфель – вся *их* радость в этом. Ну как можно тратить душевную энергию на восторги по поводу нового платья? Батона колбасы? Кружки пива? Пачки денег? Автомобиля? Согласен, не все заняты исключительно проблемами материального блага, но *их* абсолютное большинство, или, на языке математиков, – максимум. А это означает, что минимум так же, как я, страдает от соприкосновения с людьми. Страдает тяжело, мучительно!.. Да, человек – весьма странное существо. Как неудачно сложился генетический ансамбль кроманьонца! Коэффициент интеллекта встречается очень разный. Представляю, как тяжело гениям жить среди этих разнородных масс!» Но тут направление мысли снова резко изменилось: «А что если *cosmicus* необходимо искать среди людей? Ведь мутации – это не усредненная абсолютная величина. Они происходят при рождении каждого отдельного из людей. Если я сам – производное от людей, то могут ведь быть и другие. Такие же, как я! Может, у них не так ярко выражен ансамбль путивльца и агрессивная людская среда еще доминирует над новыми загадочными, пробуждающимися существами? И *их* не так уж мало? Как и я, *они* живут лишь параллельно с современной цивилизацией. Прячутся по норам. Скитаются в нечеловеческих условиях. *Их* встретишь, как и меня, в ветхих сараях дворников, в замызганных шахтах лифтов, на городских помойках, в берлогах провинциальных поселений. Ведь *нам* все равно, где ждать прихода новой эры, эпохи путивльцев. Это для *них* дворник – непрестижная профессия. Это для *них* свалки мусора – недостойная взгляда помойка. Для меня это – признаки постепенного исчезновения людей. Памятники прежней пустозвонной цивилизации. Убедительное доказательство несовершенства видов, самостоятельно закрепивших за собой понятие “разумные”. Мне требуется лишь найти своих, подать *им* сигнал, что *они* не одни в этом мире людей; протянуть *им* руку, оповестить, что *cosmicus* здесь, рядом, что наступает *наше* время. Но пока мне необходимо реализовывать свою исследовательскую доктрину. На целый год я должен стать аферистом. Для того, чтобы объявить *им* войну, я должен знать, как именно возбуждается *их* генный ствол алчности. Ведь какая сумасшедшая меркантильность с обеих сторон! Вначале радуется продавец, встретивший дурака, который платит три номинала. Потом радуется покупатель, обманувший простофилю. Был бы у *них* путивльский интеллект, разве такое было бы возможно? Такая мелочная страсть! Последний победил, но вначале побеждал и ликовал первый. Гадость! Необходимо сделать все, чтобы ни в коем случае не занести эту заразу в будущее, в эру *cosmicus*. Мне придется отменно поработать!» Я поплелся к зданию Генерального штаба и вспомнил, как Пошибайлов рассказывал, что из третьего подъезда обычно выходят офицеры, получившие за службу в Анголе, Йемене,

Вьетнаме, Никарагуа чеки «Внешпосылторга». Серое здание штаба выглядело строго, пожалуй, даже мрачно. Опять заморосил дождь. Я удивился, когда перед зданием увидел офицеров с зонтами. Никогда не подозревал, что они тоже носят зонты! Взглянул на табличку над тяжелыми дверями ближайшего подъезда: на ней был указан номер четыре. На гранитных ступеньках лестницы блеснули потерянные латунные пуговицы. «Странно, – подумал я, – что, у них нет дворника, или трудно закрепить пуговицу? Эту черту *их* характера необходимо запомнить». Следующий подъезд был под номером три. В огромную парадную дверь с молчаливым приветствием «под козырек» вваливались и вываливались толпы военнотружущих. У них были какие-то странные, отрешенные физиономии. В походке ощущалась слепая энергия, в движениях конечностей – механическая простота. Именно так двигаются заводные детские игрушки. Неопрятная, лоснящаяся форма или болталась на худосочных фигурах, или обтягивала тучные тела. «Ни одного мускулистого, спортивного тела, – с удивлением подумал я. – Тогда что же это за армия? Чем они там заняты?» Но тут другая мысль буквально поразила мое сознание: «Все эти люди теперь будут входить в мое одиночество так же бесцеремонно, как они открывают двери третьего подъезда! И мое сознание должно будет впустить в себя *их* проблемы. Мне начнут сниться *их* оторванные латунные пуговицы, мятые шинели, блестящие погоны, обрюзгшие физиономии. Нужно ли для этого жить?» – «А как же эра путивльцев? – немедленно отозвался внутренний голос. – Я же возложил на тебя обязанности по расчистке площадки для прихода cosmicus. Перед тобой – многолетняя программа! Ты должен ее выполнить! Ведь цель прозрачна и ясна!» Прошло каких-то пятнадцать – двадцать минут, а я уже устал. Почувствовал себя неполноценным существом: зрение оказывало сильное давление на психику, на волю. Люди, люди, люди! Их количество разрушало мое сознание, разрывало его в клочья. Я терял себя, проваливался в какую-то черную дыру. Мрачный занавес опустился на глаза, голова закружилась, ноги подкосились. Собрав последние силы, я решил вернуться в свою берлогу. Утешительная мысль о собственном генеральном плане снова взбодрила меня. «Все готово и расписано. Давай, Василий, начинай, – завтра пополудни. Закончи работу дворника, надень парик, возьми в руки любую книжку и несись к третьему подъезду Генерального штаба. Только помни свою легенду. Без нее нельзя. Несовершенному существу обязательно хочется услышать сентиментальную историю. Дай ее *ему*!» В этих раздумьях я взял метлу, подмел весь вверенный мне квартал, потом музейный в лужах двор, обессилел, доковылял до сарая и, усталый, заснул. В эту ночь мне ничего не снилось. Ровно в семь часов утра я встал, умылся в тазике, позавтракал куском хлеба, сырым яйцом и холодной водой, после чего взялся за работу. Мой пуританский образ жизни не был скопирован ни с какой прочитанной или услышанной стародавней истории. В нем просто выражалась моя суть. Всякие изыски в пище, в одежде, в быту вызывали у меня глубочайшее, простодушное отторжение. К полудню я сделал все, строго по служебной инструкции, и стал готовиться к деятельности у третьего подъезда. Лишения одиночества не только не изнурили меня, но выковали холодную целеустремленность. Сегодня уже никакие сомнения не лезли мне в голову. Я точно знал, что мне предстоит, какие манипуляции надо совершить, чтобы распалить алчность человеческую, – поэтому торопился к Генеральному штабу. Я уже надел парик и приклеил усы, как вдруг заметил себя в кусочке зеркала. Нет, действительно, это был не путивлец Василий Караманов, не его двойник, не его тень. Это был Алексей Пошибайлов. Именно таких людей я ненавидел всю жизнь. Именно *они* вызывали у меня яростное возмущение тем, что присвоили себе чужое звание – человек разумных. Именно *их* я твердо решил изгнать в археологическую литературу. А тут – на тебе! Сам похож на *них*! Всмотрись в меня пристально – никогда не скажешь, что я cosmicus. Я стал опасаться, что нахождение «в людях» отнимет слишком много времени и сил. А я так нуждался в них! Впрочем, я решительно прервал размышления, сунул «куклу» в карман, взял нал, надел

очки, вышел из сарая и направился к Генеральному штабу. Дорога заняла не больше пяти-шести минут. У третьего подъезда опять было многолюдно. Еще раз перебрав в памяти детали трюков лагерного Пошибайлова, я выбрал одного из выходящих. Майор, среднего роста, чуть ниже, чем я. Загорелое, простое лицо. Китель – новый, брюки – заношенные. «Видимо, – подумал я, – из Северной Африки или из Анголы. Китель покоился в шкафу на вешалке, а в брюках проходил весь срок командировки». Глаза светлые, пустые, нет в них ни злобы, ни доброты. Выразительный лоб, широкие скулы. Лет тридцать – тридцать пять. Идет и красуется, видимо, имеет полный карман чеков «Внешпосылторга». Может, звезду подполковника получил? Долго не раздумывая, подхожу: «Здравствуйте! Я Леша Пошибайлов из Твери. Хочу купить чеки. За сто пятьдесят чеков плачу четыреста тридцать рублей. Это почти по три рубля за чек. Продадите?» Говорю быстро, на ходу, майор, не сбавляя темпа, несется дальше своим маршрутом. После слов «почти три рубля за чек» резко останавливается, на полминуты впивается в меня взглядом. А я его пристально изучаю. Смотрю, как его зрачки расширились, ноздри раздулись, дыхание участилось. Безразличное, пустое лицо преобразается; проявляется, растет интерес. Глаза уже заматались – добычу чувствует. Думает, видимо: вот повезло, дурачка встретил, три рубля предлагает! «Откуда знаешь, что у меня чеки есть? – прищутив глаза, спрашивает военнослужащий. – Не из МУРа ли?» – «Мне еще двадцати лет нет. Я студент техникума...» – «Деньги с собой?» – обрывает майор. «Да! В кармане. Дать?» – «Нет, – говорит, – не здесь. Давай зайдём в телефонную будку. Она тут рядом, у памятника Гоголю». Молча идем вместе еще около ста шагов. Я не могу следить за его глазами, мне виден лишь его профиль. Но руки, гляжу, ерзают, радуются. Обмануть меня мечтает, три рубля за один получить! В левом кармане я нащупал «куклу», в правом – наличные деньги. Вот и телефонная кабинка. «Заходи», – говорит он. Я первый протиснулся в будку. За мной майор. Он снял трубку, приложил ее к уху и подпер плечом: якобы говорит по телефону. «Давай деньги!» – властно требует офицер. Я спокойно вытаскиваю пакетик с красными десятками и кладу их на книжицу «Улицы и площади Москвы». «Пересчитывайте. Здесь ровно четыреста тридцать рублей». Он судорожно вытаскивает деньги, глаза его бегают по сторонам. Начинает лихорадочно считать. Со лба капает пот. Я смотрю на него и думаю: это он – венец природы? Что за недостойная природа, если у нее такой венец! «Да! Точно. Здесь четыреста тридцать рублей», – говорит он отрывисто, нервно и пытается засунуть деньги себе в карман. «Минутку, – забирая купюры, говорю я. – Вначале покажите мне свои чеки. Потом берите червонцы». Я взял из его рук деньги, поместил их в целлофановый пакетик и опять положил его на книжицу. Пока он считал мои рубли, я пристроил под книжкой заготовленную «куклу». Мне оставалось лишь в этой суеде повернуть кисть – и «кукла» оказывалась сверху. Так действовал настоящий Алексей Пошибайлов, это был профессиональный трюк. Майор напряженно доставал пачку чеков из плотно облегающего кителя. Мне нужен был один миг, чтобы сделать движение кистью руки. И когда офицер достал чеки, поверх книжицы уже лежала «кукла». «Вот. Видишь, сколько? Тебе же надо сто пятьдесят?» С него струился пот. В будке было тесно и душно. Внутри самого майора кипел инстинкт наживы. «Да! – сказал я. – Мне больше ни к чему!» – «Жаль, а то мог бы еще подкупить! Да ладно! Вот, бери», – сказал он, закрывая своим телом выход. «Бойтся, что я сбегу», – пронеслось в моей голове. Мне было горько смотреть на человека. Другой бы радовался: что за кретин этот венец природы! Но его слепая глупость угнетала меня. Я даже про себя не усмехнулся. Его поведение еще глубже укрепляло меня в моем видении будущего. Одной рукой майор отдал мне сто пятьдесят чеков, другой схватил «куклу» и с какой-то невероятной силой запихнул ее в карман. Мне показалось, что его френч затрещал, швы разошлись. Больше не говоря ни слова, он бросил трубку, выскочил из телефонной кабинки и засеменил в сторону Арбата. Я крикнул ему вслед: «До свидания, майор!» – но

он не обернулся, а лишь прибавил шаг. Я пощупал пульс: он был ровным и спокойным. «Настоящий путивлец!» – подумал я о себе. Повесив уныло болтающуюся трубку на рычаг, я пошел вслед за майором. Нет, он меня совершенно не интересовал. И никакой опасности в том, чтобы идти за ним следом, я не видел. Я был уверен, что в свой карман он залезет лишь дома и «кукла» окажется для него полнейшей неожиданностью. Но профессия «кукольника» состояла из двух частей. Первую я бесстрастно выполнил. Теперь передо мной стояла другая задача: найти покупателя чеков. Дело было несложным. Их цена составляла два номинала. На Старом Арбате был комиссионный магазин. Я шел именно к нему. «У меня есть немного чеков “Внешпосылторга”. Интересуетесь?» – спросил я продавщицу. Размалеванная, в теле, с тяжеленными серьгами, которые вытянули мочки ушей почти до ключиц, она, оглядев меня с головы до ног, бросила: «Минутку!» – и ушла во внутренние помещения. Вернулась торговка с дамой еще более крупной и значительной. Гордый, властный, требующий немедленного повиновения взгляд заплывших глаз впился в меня со всей своей мощью. Но, слава богу, я не был человеком! Иначе упал бы ей в ноги, – такой разрушительной силы был ее прищур! Я выдавил едва заметную улыбку и небрежно, помошеннически бросил: «Привет красоткам! Есть сто пятьдесят чеков». – «Ах, жаль! Жаль! Такая мелочь?» – удивилась хозяйка с седыми, подсиненными волосами. Лицо ее приняло растерянное выражение. Теперь она больше походила на глупого ребенка, чем на опытную комиссионерку. Я подумал, что смутил даму мелочью. Она ждала другой суммы. «Сколько вам нужно?» – шепнул я ей в самое ухо. Я даже взял ее под руку и притянул к себе. Ее грудь в упругом лифе поджалась, как жесткая пружина, упершись в мое тело. «Откуда это во мне? – тут же мелькнуло у меня в голове. – Так я же настоящий cosmicus, временно надевший маску человека!» Дама расплылась в улыбке; незнакомый парфюмерный аромат впервые в жизни крепко ударил мне в нос. Ее лоснящееся раскрашенное лицо оказалось рядом, почти касаясь моей исхудавшей физиономии. Исходящие от нее невероятные запахи продолжали атаковать меня, доводя до одури. Я наблюдал, как она задумалась, стала нашептывать какие-то слова, – видимо, представляя товары, которые сможет теперь купить, или сервис, который оплатит чеками. Женщина не просто расцвела – в своих мечтах она приподнялась над клиентами магазина, над пешеходами Арбата, над всеми жителями огромной России. Ее носило где-то в облаках, она проводила время в поднебесье, она получала кайф в фантастическом мире грез. Как патрицианка, она парила над всеми! Но я-то знал, что это был за мир: яркие вещи, глупые тусовки и пир во время чумы. Тут я вспомнил договоренность с самим собой и рассердился: «Караманов, зачем тебе проводить в роли афериста целый год? Несколько эпизодов достаточно, чтобы понять абсурдность утверждения о величии человека. Это до невозможности примитивные существа, которые мешают миру развиваться дальше. Василий! Найди способ избавиться от *них* всех! Торопись! Универсум ждет!» «Я купила бы несколько тысяч чеков, – вернул меня к реальности голос хозяйки комиссионного магазина. – И плачу неплохо: рубль восемьдесят за чек. Танька, – обратилась она к продавщице, – дай парню двести семьдесят рублей. – Потом ко мне: – Где чеки? Не фальшивые ли? Когда еще принесешь?» Я подсчитал: четыреста тридцать рублей было моих, она даст двести семьдесят. Получается семьсот. Двадцать рублей уйдет на «куклу», десятку придется отдать за парик блондина. За двадцатку приобрету поношенную куртень. Шестьсот пятьдесят. Пятьдесят откладываем. Шестьсот делим на три, получаем двести чеков. «Завтра, – сказал я. – В это же время принесу двести чеков». – «А почему только двести? Я же сказала: тысячу куплю! Больше тысячи! Сколько доставишь – все будет тут же скуплено! – На ее лице появилась недовольная гримаса. – Как тебя зовут, юноша?» – «Алексей Пошибайлов». – «Что-то лицо у тебя бледное, с желтизной. Ты, случаем, не колешься? Или у тебя гепатит? Иметь задумчивый вид в твои годы... Ты не болен?» – «Нет, все в порядке. Учеба отнимает уйму времени!» – «Ну, приходи завтра. Буду ждать. Сделаю предложение, от которого просто

так не отказываются», – и она как-то мечтательно взглянула на меня. Такого женского зора я никогда еще не видел. Нет, он меня заинтересовал совсем по другому поводу. «Что она имеет в виду? – подумалось мне. – Мечтает она о чеках или о чем-то другом? Не может быть! Неужели ей на ум пришел секс? Ей же все пятьдесят! Уж этого я себе никогда не позволю! Пусть **они** целуют ее накрашенные губы; пусть **они** гладят ее кастрюлеподобную грудь; пусть **они** обнимают ее бочкообразную талию; пусть **они** ласкают ее униженные бриллиантами пальцы-сосиски; пусть **они** нежно теребят ее крашенные волосы. Караманов не для этого дела, мадам!» Я поклонился, опустил глаза и быстро вышел на Старый Арбат. У меня был, видимо, престранный вид. Некоторые люди оборачивались и смотрели мне вслед. Но мне было все равно. Я несся в сберкассу, чтобы обменять деньги коммерсантки на красные червонцы. Меня еще ждала покупка нового парика и всего остального. Надо было готовиться к завтрашнему дню. Мысленно я подвел итоги дня: сегодня я совершил много абсолютно новых для себя дел. Я впервые обманул человека. Второе: я впервые стал смотреть в глаза людям. Изучая **их** не на расстоянии, а непосредственно общаясь с **ними**. Третье: я впервые продал вещь. Неважно, что это были чеки, – я выступил как торговец. Четвертое: я впервые с глазу на глаз общался с женщиной. Пятое: я впервые почувствовал на себе похотливый взгляд. Шестое: я впервые больше двух часов жил людской жизнью. Седьмое: я еще глубже убедился, что только совершая над собой насилие, смогу выполнить намеченную программу – изменить население Земли. Ведь такое количество несовершенных существ может запротестовать! Шутка ли – шесть с половиной миллиардов людей! Только рыб больше! Может, загнать человека под воду? Там места обширные. Избави бог! Отравят воду! Умертвят нетронутый мир. Выплеснут океаны. Начнут строить дома политпросвета, тюрьмы, границы. **Их** генный ансамбль порочен. **Они** же не смогут самостоятельно понять, что у них нет никаких прав оставаться на планете! Что настало время уступить место другим. Если **они** сами не уйдут, то Караманов поможет, да и природа изгонит **их**. «Не торопись, Василий, тебя ждут другие сюрпризы. Чем чаще ты будешь общаться с людьми, тем больше возненавидишь эту породу, тем быстрее у тебя возрастет желание избавиться от соседства с **ними**, тем лучше ты поймешь, чего в путивльцах никак не должно быть. Что им априори противопоказано, а что человеческое можно оставить в их генах. Но главное – сколько именно. Тебе не следует усердствовать в поисках **их** пороков – они обнаружат себя сами! Ты узришь их в осколках разлетающегося вдребезги мира! Не прячь глаза, открой их шире! Тогда поймешь значительно больше, чем знаешь сейчас!» Эти мысли окрыляли меня, импульс «вхождения в люди» усилил влияние на мой разум. Я заторопился в свою берлогу в Староваганьковском переулке. Желание вновь почувствовать себя не Алексеем Пошибайловым, а Василием Карамановым, путивльцем до мозга костей, было непреодолимо. Переодевшись, приняв облик подстриженного дворника, я вышел во двор и стал подметать. Я не понимал в тот момент, что двор был чист, что мусор давно убран. Лишь позже, обдумывая каждый миг этого необычного в моей жизни дня, я осознал, что мне хотелось не столько подмести двор, сколько самому очиститься, избавиться от воспоминаний о случившемся. Этого требовала моя генная природа, но ум – интеллект *cosmicus* – сопротивлялся. Он собирал все подробности минувшего дня воедино и укладывал в специальную ячейку памяти. Я почувствовал, что меня неудержимо клонит ко сну, доплелся до парикмахерской, купил парик блондина, затем в магазине рядом приобрел бэушную куртку, дополз до своего сарая и плюхнулся на тюфяк. На следующий день, в полдень, я опять переоделся в Алексея Пошибайлова и отправился к третьему подъезду Генерального штаба. Блондин Пошибайлов был готов к криминальным манипуляциям. Сегодня я хотел найти не просто обычного «лоха», подобного вчерашнему, а самого гордого, самого умного, самого алчного из офицеров. Не майора, а полковника, генерала! Я мечтал встретить сопротивление соблазнительному предложению. Чтобы **он** удивленно спросил:

«А почему вы желаете платить в три раза больше? Есть ли у вас справка от психиатра? Я не хочу дурить больных людей! Курс чеков к рублю – один к одному. Я не позволю себе продавать чеки по завышенной цене. А строго по курсу – не желаю». Вот о чем я думал, останавливаясь у знакомого места. Здесь опять были толпы людей, все больше мужчины в погонах майоров и подполковников. Заметил двух-трех женщин во флотских мундирах. Вдруг появился первый полковник. Он вышел из подъезда медленно. Ниже среднего роста. Полноват. Толстые, вывернутые наружу губы словно вываливались изо рта. Он трудно дышал. Мне казалось, что я слышал свист его легких. Спустившись с лестницы, полковник остановился. Прищурившись, осмотрелся. Старательно высморкался прямо на асфальт. Пальцы вытер о брюки. На приветствия «под козырек» никак не отвечал. Он явно показывал окружающим, что задумался. Мыслит! Потом закурил, потухшей спичкой поковырял в зубах, пожевал ее, бросил себе под ноги и побрел в сторону станции «Арбатская». Шел медленно, большой живот распирает его китель. «Ну что, Василий, – сказал я себе, – взглянем на еще один венец природы?» Я тут же засеменял вслед. Поравнявшись с ним, сказал: «Дяденька, плачу три рубля за чек. Мне надо двести чеков, чтобы свадебное платье невесте купить. Я Леша Пошибайлов из Твери». – «А ты откуда тут взялся? Что-то я тебя раньше не видел. Из Твери, говоришь? – Он взглянул на меня и остановился. – А знаешь ли ты, тверчонок-чертенок, что чеки нынче уже четыре рубля стоят? А? Обмануть полковника захотел? купишь за три, а продашь за четыре. А меня дуралеем обзовешь? Ты где служил?» – «Студент я, в отсрочке». – «Старшее поколение служит, а младшее чеки скупает! Капитал создает! Нет, за три рубля не продам. Давай четыре – и баста! Я эти деньги в проклятом Йемене зарабатывал. Военным советником служил, подпольную армию создавал. Сам генерал Ахмед Салям Саид у меня учеником был! Это я его учил, как бомбы метать. Ты думаешь, так просто Исламбули Садата завалить?» «Что он мне о военных секретах рассказывает? Не волнуют они меня! Мне его алчность интересна, – мелькнуло у меня в голове. Я перебил его: – Товарищ полковник, платье невесте в “Березке” двести чеков стоит. Мне двести чеков нужны. А имею я всего шестьсот рублей». – «За три рубля никак не пойдет. Плати четыре! Что мне твоя свадьба, – я племяннику ко дню рождения “Шарп” отказался купить! А ты, из Твери, кто мне? Плати четыре или пошел вон». Полковник опять высморкался прямо на асфальт; его сопли попали мне на ботинок, но он этого словно не заметил. «Ну, ладно, – сказал я. – На шестьсот рублей куплю у вас только сто пятьдесят чеков. Прямо на улице рассчитывать?» – и стал вытаскивать деньги. «Ты что, провокатор, дурень Пошибайлов? Спрячь! И фамилия у тебя скверная. Рядовой Пошибайлов! Тьфу! Попадешь ко мне в полк, я из тебя всю эту дурь мигом вышибу. Кто же на улице торговлей занимается? Ищи подъезд». «Где же тут подъезд? – подумал я. – Давайте свернем налево, у продовольственного магазина что-нибудь обязательно найдем». Подъезд оказался мрачным, заплеванным, воняло мочой, стены заросли плесенью. Я положил пакет с червонцами на книгу, а под ней пристроил «куклу». «Возьмите деньги, считайте», – предложил я. Тут с полковником началась истерика. С какой-то двойной алчностью он стал разглядывать мое лицо. Потом вдруг, нисколько не стесняясь, заговорил с самим собой вслух. О, это был какой-то невообразимый, нескончаемый поток слов! Лицо его оставалось каменным, но голос дрожал. Лишь изредка он вытирал рукой полные слез глаза. Такого я никогда еще не видел: каменное лицо в слезах. «У меня, значит, шесть с половиной тысяч чеков. Умножим на четыре – это будет двадцать шесть тысяч рублей. На эти деньги я куплю кооперативную квартиру, которую продам за два номинала; на автомобиле, который уступлю Аистову, заработаю еще три тысячи; ковры принесут мне семь тысяч; за саблю Кемала комиссионка выложит три тысячи; за Коран восемнадцатого века с картинками Абдул Карима мусульмане предложат три тысячи; за набор почтовых марок спекулянты отстегнут тысячу; за коллекцию вырезанных из камня верблюдов можно снять

три тысячи; за письма Насера у букинистов выручу полторы тысячи; за необработанные сапфиры можно ожидать две тысячи, за поддельные часы фирмы “Радо” – тысячу; за полтонны шафрана любой узбек или азербайджанец выложит пару тысяч; за списанные противогазы можно без проблем заграбастать четыре тысячи. Потом все эти деньги уложить в чемодан и вывезти во Вьетнам. Там на них можно купить кофейную плантацию. Или в Венгрию, там яблоневые плантации принесут высокий доход...» – «Прошу прощения, полковник. Вы начнете считать деньги?» – перебил его я. Мне не хотелось делать это раньше: вначале ход его мыслей меня очень интересовал. Но теперь мне многое стало понятно, и отмечать еще и еще раз активность гена наживы не имело уже никакого смысла. Вот он, враг человеческий – ген спроса, приобретательства. Он полностью поглощает сознание, он подчиняет себе весь скромный кроманьонский интеллект. Неужели *они* сами на этот разрушительный эффект не способны обратить внимание? Ведь претензии на разум у *них* огромные! Да бог с ними! «Считайте деньги, товарищ полковник!» – повторил я. Офицер высморкался, утер рукавом нос, пальцы обтер в карманах брюк, вытянул пачку денег из полиэтиленового пакета и стал считать. Он перебирал деньги медленно и нудно, часто сбивался, начинал все сначала. Я держал перед ним книжицу, на которую он клал то стопки по десять ассигнаций, то кучки по двадцать, то все вместе. Ощупывая десятки, он, видимо, слышал какую-то музыку, потому что пальцы с зажатой купюрой каждый раз подносил к правому уху, закрывал глаза, его крупная голова вздрагивала в непонятном ритме, а толстые, вывалившиеся изо рта губы то ли что-то нашептывали, то ли напевали. Наконец, закончив пересчет, полковник тяжело вздохнул. Какое-то время червонцы оставались на книжице. Правой рукой я взял пачку денег, левой рукой положил книжку с «куклой» под правую руку и стал на его глазах аккуратно упаковывать денежную пачку в прозрачный пакет. «Правильно, правильно, – прошептал офицер, – деньги порядок любят». – «А где ваши чеки?» – спросил я. Он расстегнул китель, потом сорочку, и на майке я увидел нашитый вручную карман. «Лагерный прием, – мелькнуло у меня в голове. – Карманников боится, что ли? Или опасается каждого из людей?» Он извлек из своего потайного кармана пачку чеков, отсчитал три полсотни, прикусил их зубами на то время, пока прятал оставшиеся чеки в импровизированный тайник, застегнулся и сказал: «Теперь давай, Пошибайлов, меняться: я тебе чеки, а ты мне деньги». – «Вот и славно, берите пачку. Она вас ждет!» – заявил я. А на книжице уже лежала «кукла». Полковник взял ее, подумал, потом передал мне чеки, опять расстегнул китель, сорочку и в свой нашитый карман положил целлофановый пакет. «Ты, Пошибайлов, запиши мой телефон. По курсу один к четырем я всегда готов продать. Есть чем записывать?» – «Спасибо, мне больше не нужно. Мне только свадебное платье купить. В “Березке” есть и за сто пятьдесят. Правда, с короткими рукавами». – «Правильно! – сказал полковник. – Обрезай невесте руки смолodu. Чем короче руки у жены, тем больше прав у мужа. Понял?» Мы, наконец, вышли из подъезда и попрощались. Через несколько шагов офицер опять громко высморкался. Показалось, что мне на лоб попала сопля! Я вытащил платок и вытер лицо. Честно сказать, я тогда до конца не понял, была это иллюзия или на самом деле мне на лицо попала слеза полковника. От общения с этим типом меня вновь потянуло подметать улицы, но я был обременен обязательствами: торопился в комиссионку, проклиная мир, в котором оказался. «Надо же, попал! Родился в такую мерзкую эпоху», – сверлила меня горькая мысль. Тут я зашел в незнакомый подъезд, чтобы сменить парик. Из блондина сегодняшнего превратился в шатена вчерашнего и уже смело вошел в магазин. Встретившись со мной взглядом, продавщица кивком головы дала понять, чтобы я следовал за ней. Доведя меня до кабинета начальницы, моя провожатая тут же исчезла. Комнатка директрисы была не больше десяти метров. Я осмотрелся: стол, заваленный бумагами, полки, забитые разной запыленной дребеденью, почерневшие картины с изображением деревенского быта на стенах, какие-то картонные ящики не самого чистого вида по углам

придавали этому небольшому помещению захламленный вид. «Обратились бы ко мне, я мигом бы навел здесь порядок. Хоть можно было бы свободно дышать, – подумал я и тут же, вспомнив громкое сморканье полковника, брезгливо поморщился: – Фу!» – «А, это ты, Алешенька! Рада видеть! Принес, что обещал?» Седая дама сидела за столом, подперев рукой левую щеку. Ее грудь лежала на столешнице, как рулон байковой ткани. «Сто пятьдесят чеков к вашим услугам». Никакого желания вступать с ней в длительные дискуссии у меня не было. «Что ты, дружок, по сто пятьдесят носишь? Что у тебя за лимит? Не доверяешь? Мне, Нине Сергеевне? Весь Арбат знает и уважает Лепешкину! Я же не стану тебя дурить. Что мне двести семьдесят рублей? Пустяк!» Тут я подумал совсем о другом: «А что если попробовать спровоцировать эту даму, заставить ее проявить инстинкты? Раскрутить на выражение чувств, взглянуть на ее генные предпочтения? Я же совершенно не знаком с женщинами!.. Милая Нина Сергеевна, сегодня цена на чеки выше, чем вчера. Вы можете не брать. Я найду других покупателей». – «Ты же обещал мне по рубль восемьдесят! – вскричала она, резко вставая из-за стола. – Это нарушает этику коммерсантов. Я строю планы, делаю заказы в “Березке”, а ты без предварительного согласования поднимаешь цены. На что это похоже?» – «Назвать вам новую цену?» – спокойно спросил я. «Нет! Не хочу даже знать!» – «Тогда я пойду». – «Вали! Но больше чтоб духу твоего здесь не было!» Я молча раскланялся и готов был выйти вон, но она снова заорала: «Нет, подожди! Что у тебя за цена?» – «Обстоятельства вынуждают меня поднять цену на два процента, – начал я медленно. – Здесь нет никакого злого умысла. В стране начались рыночные отношения, а обменный курс – это инструмент рынка. Он может меняться несколько раз в день. Он иногда ползет вверх, а иногда скатывается вниз! Так я пошел...» – «Стой, Алешка! Сколько это, два процента? Подожди, посчитаю!» – растерялась Нина Сергеевна. «Не трудитесь, я уже это сделал. Общая цена вырастет на пять рублей сорок копеек. Я не знаком с торговцами, но не думаю, что такое мизерное повышение курса должно вызывать столь бурную реакцию. До свидания». – «Стой, паразит! Не мучай меня! Ну, ошиблась. Женщина же! Вот, возьми двести восемьдесят рублей!» – смягчила она тон. «Что, четыре шестьдесят оставляете на чай?» – усмехнулся я. «Ой, не бери в голову! Считай, как хочешь. Давай чеки!» – взмолилась Лепешкина. Я передал ей три полсотни, но уходить не торопился. «Что дальше-то будет? – не успокаивался я. – Мне очень важно досконально знать эту породу». Я изобразил наивного молодого человека: выложил из кармана мелкие деньги и начал было перебирать монеты, чтобы отсчитать сдачу, – но тут Нина Сергеевна сгребла мелочь в кучу, зажала ее в кулаке и засунула в мой брючный карман. Разжав кулак, она взглянула на меня тем самым, вчерашним, похотливым взглядом, ухватила мужскую часть моего тела и стала с какой-то остервенелой настойчивостью ее массировать. Мужская часть тела изменила форму и окрепла. Свободной рукой Лепешкина выключила свет, ногой с грохотом закрыла дверь, чмокнула меня в ухо и прошептала: «Я тебе в подарок импортные носки приготовила. Черные, а по бокам шведская корона. Тебе они понравятся. Раздевайся быстрее, давай на стуле! – Ее голос вздрагивал, дыхание было прерывистым. – Скидывай с себя все, Лешка! – Вытащив руку из кармана моих брюк, она тоже стала раздеваться. – Ох, носки у тебя будут классные. Мне их из Италии привезли. Майку тоже снимай. Быстрее!» Она снова ухватила интимную часть моего тела. Смотрел я на эту суету в кабинете директора комиссии и огорченно думал: на чью голову надели венец природы? Видимо, какой-то услужливый редактор не стал упоминать, что венец-то глиняный! Да и не венец он вовсе, а горшок! Да, глиняный горшок! Тут я отвел от себя дрожащую руку госпожи Лепешкиной и спокойно бросил: «Пока, венценосцы, пока, разумные!» – и вышел на улицу. Я был настолько глубоко предан своим убеждениям, что никакие бесы человеков не одолели бы меня – ни искусом, ни соблазнами. Старый Арбат был полон человеками. Они пили из бутылок пиво, целовались, брэнчали на гитарах, пели,

дрались, знакомились, жульничали, играя в наперсток, глазели друг на друга. Был обычный день в столице России. Я вяло плелся по Арбату и с грустью думал: зачем попал я в этот мир? Непрошенный гость. Одиночка. Дворник. Нужен ли я **им**, этим счастливым, со своей идеей добиваться **их** скорейшего исчезновения? Подглядывать за **их** убожеством, заносить в тетрадку памяти **их** пороки... Пусть вымирают самостоятельно. Никто же не торопил неандертальцев! Никто не гнал их метлой возмущения. А может, все же кто-то был? Некая сила управляла их исходом? Ведь подозрительно спокойно они переселились на страницы исторических книг. Неправдоподобно вяло оставили навсегда свои ареалы обитания. И кроманьонцам нужен лишь толчок. Слабый, незаметный, бесшумный.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.